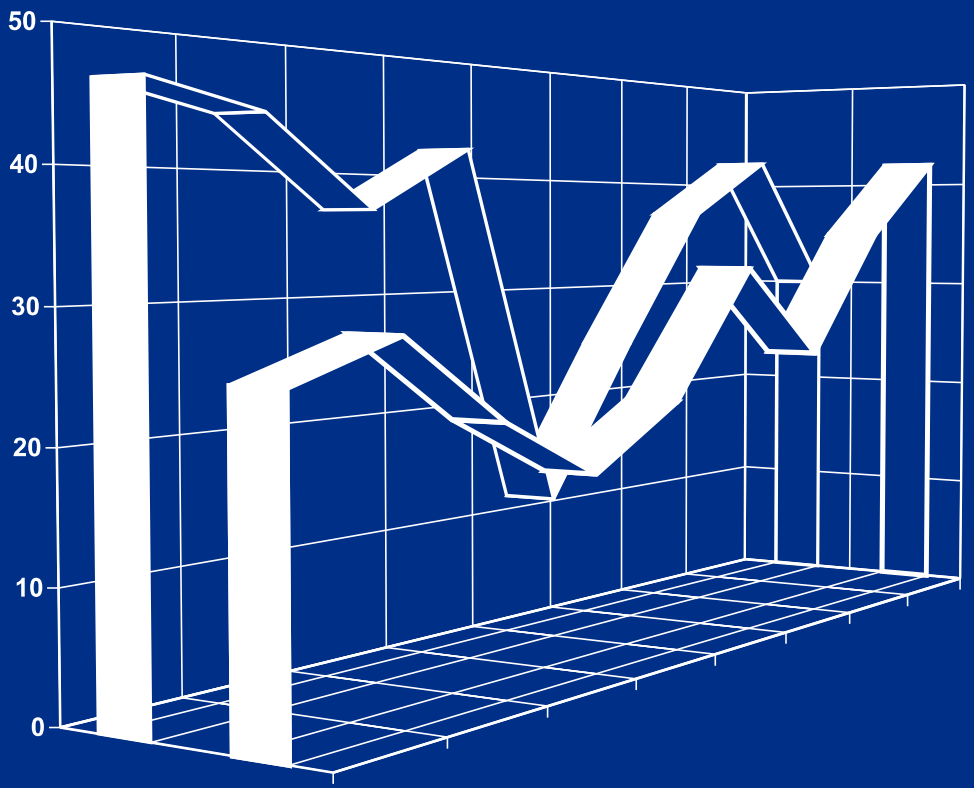
От мнений — к пониманию

ВЕСТНИК

THE RUSSIAN PUBLIC OPINION HERALD

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Данные. Анализ. Дискуссии



3–4 (127)

ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Лев ГУДКОВ

Вторичный, или возвратный, тоталитаризм

Предварительные замечания

Лет двадцать назад в Перудже, в Итальянском университете для иностранцев, я читал лекции о советской системе, о причинах ее краха, о горбачевской перестройке и реформах Ельцина. Уже под конец своего рассказа о накопившихся и неустранимых противоречиях планово-распределительной экономики и тотального государства, парализовавших волю людей и их способность к изменениям, я был сбит с толку неожиданным вопросом недоумевающего немецкого студента, явного левака, анархиста или троцкиста: «А зачем существует такая система?» «Зачем?» (не причинно-следственная форма: «Почему?» или функциональная: «Как?», а целевая: «Зачем?»). Меня обескуражила сама постановка вопроса: какова цель такой системы и кто ее мог поставить? Подразумевалось: кому нужна такая система? За меня ответил (вопросом на вопрос) мой коллега, историк и социолог Виктор Заславский: «А зачем немцы гнали один за другим эшелоны с евреями в Освенцим, когда их Восточный фронт испытывал острую нехватку транспорта для снабжения воюющей армии?»[1]

Телеологическая постановка вопроса в силу своей архаичности вскрывает проблему смысла коллективных человеческих отношений, а значит, и соотношения мотивов и ценностей, которыми руководствуются люди (в том числе и значимости насилия). Другими словами, когда речь заходит о коллективной или институциональной рациональности, структуре гораздо более сложной и разнородной, чем инструментальное взвешивание «цель — средства», которым обычно ограничиваются российские исследователи, экономисты и политологи, непригодными, точнее, бессмысленными оказываются простые одномерные модели вроде «человека экономического» или любимая нашими экономистами и психологами «пирамида Маслоу» — условный образ голого дикаря с точки зрения культурной антропологии и культурного же символизма. Почему обыватель поддерживает и одобряет режим Путина, но одновременно готов протестовать против пенсионной реформы, требует отправить в отставку правительство Медведева, разделяет самые примитивные антизападные стереотипы и демагогию официальной пропаганды и вместе с тем хочет «нормализовать отношения» с западными странами, верит в то, что Майдан организован ЦРУ, в восторге от аннексии Крыма, но не хочет платить за это? Список таких вопросов (касающихся, например, убежденности в тотальной коррумпированности государства, эгоизме и жадности высших чиновников и всего политического класса) можно продолжать и продолжать, но ответов на них не находится.

Одно из возможных объяснений подобной способности самоизоляции исследователей состоит в том, что предлагаемые для интерпретации схемы человеческого поведения не собираются учитывать многослойность оснований человеческой мотивации, то, что системы нормативной регуляции и гратификации поведения могут включать разные пласты культурных значений, имеющих разную временную длительность и разные символические горизонты. Большая часть политологических рассуждений российских комментаторов строятся на сиюминутных реакциях общества на те или иные события, действия властей, депутатов, заявления зарубежных политиков, то есть объяснения строятся на модели простейшей рациональности «стимул — реакция», «потребности — удовлетворение». Эта бедность социологического воображения оборачивается тем, что интерпретаторами не осознается действие институтов,

[1] Совсем недавно я натолкнулся на такие же аргументы в только что вышедшей на русском языке книге Х. Арендт: «Если исходить из того, что большинство наших действий имеют утилитарный характер и что наши злодеяния берут начало в некотором “преувеличении” личной выгоды, то мы вынуждены заключить, что этот конкретный институт тоталитаризма недоступен человеческому пониманию. Если же, с другой стороны, отвлечься от любых норм, которых мы обычно придерживаемся, и рассматривать исключительно фантазмы идеологических утверждении расизма в их логической чистоте, то нацистская политика истребления оказывается более чем осмысленной. <…> Существенной оказывается их [лагерей] антиутилитарная функция, тот факт, что даже крайне критические ситуации в ходе военных действий не могли оказать влияния на эту “демографическую политику”. Нацисты как будто бы были убеждены, что поддерживать работу фабрик смерти было важнее, чем выиграть войну». *Арендт Х.* Методы социальных наук и изучение концентрационных лагерей. // *Арендт Х.* Опыты понимания 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм. М.: Институт Гайдара, 2018. С. 397, 398.

вбирающих в себя смысловые значения большого времени — социально-культурные пласты предшествующих исторических периодов, которые проходило общество, и соответственно действие институциональных структур, имеющих разные формы своей «культурной записи», разную системы артикуляции и публичного осознания. Значительная часть массового поведения в принципе не может быть истолкована однозначно («рационализирована» в категориях цель — средства), поскольку социальные механизмы регуляции могут включать такие положения, которые «убирают» или «прячут» от внешнего наблюдателя некоторые мотивы и интересы действия субъекта. Встроенные в цепочку внешних смысловых оправданий (для себя, для других) эти моменты поведения образуют как бы «бессознательные» императивы действия, раскрываемые лишь путем специальных реконструкций, похожих на приемы психоанализа. Но именно это «подсознание» (или коллективное бессознательное, **Id** социальной массы) представляет собой глубоко интернализованный коллективный опыт, часто табуированный и не подлежащий публичной артикуляции и интерпретации, социальные нормы, воспроизводимые целыми поколениями, пережившими сталинский террор, принудительный и закрепленный порядок работы, бедность повседневной жизни. То, что интерпретаторы называют «неискренностью» в ответах респондентов при социологических опросах или «страхом», должно пониматься как проявления структур рациональности, неизвестной этим толкователям.

С точки зрения ***объективных*** национальных интересов (которые нетрудно отождествить с реальными интересами населения[1]) такие действия российских властей, как война в Сирии, присоединение Крыма, война в Донбассе, установление протектората над Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, поддержка Ирана, конфронтация с самыми развитыми странами в мире, являющимися для России источником технологических новаций, инвестирования капитала, правового просвещения, социального подражания и т.п.), иррациональны, абсурдны и вредны. Как считает население, приоритетными целями политики правительства должны быть достижение высокого уровня благосостояния (или, по крайней мере, не ухудшение достигнутого), качество и доступность здравоохранения, бесплатное образование, развитие социальной инфраструктуры (строительство хороших дорог, газификации, канализации и т.п.).

С точки зрения правящего сегодня в России режима «национальные интересы» включают в себя совершенно другие ценностные значения — величие Державы, геополитические планы, принуждение других стран к «уважению» России. Но как раз они, а не что-нибудь иное, вызывают одобрение россиян, обеспечивая массовую поддержку власти. Представление о мощи Государства, опирающееся на военную силу, на угрозу применения ядерного оружия, означает высокую ценность насилия как такового в массовом сознании, символически выраженную авторитетом соответствующих институтов[2]. Разумеется, россияне сознают значимость таких оснований престижа страны в мире, как качество жизни населения, экономическое, технологическое или научное развитие, культурное наследие[3]. Но понимание того, что Россия в настоящее время не может даже надеяться когда-нибудь сравняться с развитыми странами, заставляет их (во внутреннем театре кривых зеркал, льстящих представлений о себе) переворачивать иерархию приоритетов, ставя на первое место понятие воинской славы и национальной чести. Героизация насилия как условие признания величия страны — оборотная сторона сознания коллективной ущербности, требующей компенсации. Идеологическая эксплуатация этих комплексов была и остается одним из наиболее частных способов массовой мобилизации в интересах правящих элит. Мотивы тут могут быть разными — сохранение своей власти или, напротив, борьба за власть конкурирующих партийных групп.

Насилие в этом плане есть механизм варварского самоутверждения (в смысле тождественный эпохе варварства), активирующий глубоко лежащие слои культуры и архаические образцы поведения. Говоря о «варварстве», я, конечно, отдаю себе отчет в том, что такое «вар-

[1] «Объективными» их можно считать в силу того, что они присущи абсолютному большинству населения, горизонт существования которого определен практическими заботами повседневной жизни. Диапазон их невелик (из-за ограниченности самих запросов): от пожеланий «жить не хуже других» до норм физического выживания («средств хватает только на еду»). Они «реальны», поскольку на них в своих политических заявлениях ориентируются руководство и ведущие политики, обещающие в своих долгосрочных планах повысить благосостояние и качество жизни населения России.

[2] См. ОМ-2016, с. 138–140, табл. 14.15–14.19, 14.1.11–14.1.20; ОМ-2017, с. 35, табл. 3.1.9–3.1.10, 9.2.5, график 9.5.1. В сентябре 2018 года авторитет (влиятельность) социальных институтов в общественном мнении распределялся следующим образом: 1) армия (66%); 2) президент (58%); 3) ФСБ и другие виды политической полиции (50%); 4) религиозные организации, РПЦ (48%) и т.п. Профсоюзы, политические партии, парламент, правительство называли в этом отношении от 16 до 27%.

[3] См. ОМ 2017, с. 35, табл. 3.1.14–3.1.16.

варство» прошло через разные фазы идеологического рафинирования и сублимации, разнообразных средств оправдания применения силы — военной и полицейской (империи, социализма, православного русского мира и т.п.) и расширения сферы их действия. Функция такого варварства может и должна пониматься совершенно в духе гоббсовского Левиафана как транслирование суверенитета тотальному государству через стерилизацию и устранение многообразия ценностей, автономии и значений подданных, присвоения их значимости только одной инстанцией — вертикально структурированной властью, апроприирующей и монополизирующей право утверждать, что важно для всех, а что нет, кто свой, а кто чужой[1]. Для меня здесь важно, что все подобные переинтерпретации в конечном счет нанизаны на одну ось — всякий раз они оказываются лишь своеобразной апологией архаического «права сильных» и обеспечением единодушия подданных, консолидированных своим общим участием в насилии (пусть даже это насилие носит характер демонстративного одобрения милитаристской политики руководства страны, пассивного соучастия в изгнании «дьявола» — проклятии и осуждении тех, кто превращен во врага народа или вражескую страну, кто стал благодаря суду или пропагандистской инквизиции «отродьем рода человеческого», отщепенцем, кто принесен или превращен в «жертву отпущения»)[2].

Теоретической проблемой для понимания тоталитаризма является само сочетание этих разнородных слоев (символических значений целого и повседневного благополучия) массовых представлений, поскольку с этим связана сама специфика и устойчивость нынешнего российского режима. Важно подчеркнуть, что мы имеем дело не с периодической переоценкой ценностей (пересмотром соотношения курсов разных благ, повседневной частной или общей коллективной жизни), а функциональным механизмом перевертывания взаимосвязанных и рутинных компонентов системы представлений, сочетания коллективных символов и частных интересов. Симптомом этого переворачивания в актах одобрения силовой политики Кремля является перемена мест у причины и следствия: собственная политика милитаризации и провоцирования конфликтов оправдывается тем, что только таким образом (превентивным захватом чужих территорий, поддержкой «зеленых человечков», защитой от международного терроризма, развертыванием ракетных комплексов на западных границах, участием в межплеменной и конфессиональной розни на Ближнем Востоке и проч.) можно «предотвратить большую войну», которой угрожает русофобский Запад. Тем самым обеспечивается не только декларативная солидарность с властью, но и самоутверждение масс.

Сами по себе аргументы типа «хочешь мира, готовься к войне» известны и понятны. Взятое в отдельности это обстоятельство неинтересно. Для нас существенно то, что идея насилия кладется в основание социального порядка и легитимности режима, решения возникающих многообразных проблем отношений власти и населения: государственного регулирования экономических отношений, ужесточения уголовного наказания, расширения применения смертной казни, усиления цензуры, одобрения или, по меньшей мере, согласия на санкции против других стран, даже если это бьет по благосостоянию и потреблению самих людей. Мало кто в России ставит под сомнение право государства вмешиваться в сферы частной, общественной жизни (науку, культуру, мораль, искусство), обсуждать правомочность введения тех или иных налогов, права собственности и проч. Практически никто не задает вопросов о легитимности налоговой системы — праве изъятия большей части доходов граждан («узаконенный грабеж», как его называют историки[3]),

[1] «Недемократические режимы не просто *de facto* ограничивают свободу меньшинств, но и, как правило, четко прописывают юридические ограничения, оставляя простор для интерпретации таких законов не объективным независимым органам, а самим правителям, которые к тому же применяют их крайне избирательно». *Линц Х.* Тоталитарные и авторитарные режимы. Введение // Неприкосновенный запас. 2018. № 4. С. 4. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2018/4/totalitarnye-i-avtoritarnye-rezhimy.html.

[2] О необходимости «жертвы», соучастия в преступлении, убийстве или изгнании «козла отпущения» как условия конституирования коллектива и поддержания солидарности см.: *Жерар Р.* «Насилие и священное». М.: НЛО, 2000 и 2010; *Жерар Р.* «Козел отпущения». СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2010.

[3] *Адамс Ч.* Влияние налогов на становление цивилизации. Москва; Челябинск: Социум-Мысль, 2018. Гл. 38 «Для чего предназначены конституции». С. 543–557. Сегодня в России с 1 рубля доходов государство забирает себе в виде различных налогов более 65 копеек: налог на доходы физических лиц (13%) платит сам гражданин (считается, что «лично», но обычно эти суммы автоматически вычитаются при получении зарплаты, гонораров и прочих денежных поступлений); еще три налога платит работодатель (в Пенсионный фонд России — 22%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%; в Фонд социального страхования — 2,9%). Налог на добавленную стоимость — 18% (с 1 июля с.г. — 20%) — платят все потребители. Итого — 63%. Кроме того, к ним нужно прибавить имущественные налоги (на недвижимость, землю и др.), транспортный налог на автовладельцев и компании, занимающиеся грузоперевозками (включая сборы на «Платон»), которые опосредованно ложатся на всех потребителей, акцизы на топливо, вино, табак, штрафы и т.п.

более того, большинство россиян и не знают, сколько и каким образом государство забирает у них денег, на что они идут, поскольку государство и не собирается отвечать на них, закрывая значительную часть данных о расходах бюджета, фальсифицируя данные статистики и т.п. Именно тотальная безгласность налогового крепостного права лучше, чем любые другие характеристики социального поведения, говорит о тотальной природе российского режима. Автоматические вычеты налоговых сумм из зарплаты работников, репрессивный характер налоговой службы по отношению к бизнесу и к НКО хорошо сочетаются с полным произволом в установлении налогов и расходами бюджета правительством и региональной администрацией[1].

Ресурсы крымской патриотической мобилизации, как показывают данные опросов общественного мнения 2018 г., исчерпаны. Многие наблюдатели, указывая на явные признаки подступающей долгосрочной депрессии в экономике, на рост социального раздражения и массового недовольства, говорят о недооценке протестного потенциала, о надвигающихся политических изменениях в России[2]. Публицисты продолжают гадать о том, что нас ждет после ухода Путина в 2024 г. Радикально настроенные оппозиционеры заявляют об «агонии путинского режима»[3]. Жесткость суждений и оценок положения дел в России заметно выше у тех, кто раньше, при Ельцине, был во власти, но оказался выкинутым или вытесненным оттуда путинской генерацией функционеров, или у тех, кто уехал в последние годы из страны.

Ход мысли рассуждающих в таком духе прост и кажется логически безупречным: недовольство населения снижением уровня жизни рано или поздно (скорее даже в ближайшее время) породит массовые выступления против коррумпированного режима, эрозию легитимности режима или ее утрату, а это неизбежно приведет к смене власти в результате раскола элит, конфликта интересов влиятельных группировок, составляющих ближайшее окружение Путина, теряющих свои активы из-за санкций, международной изоляции страны, которая будет только усиливаться по мере продолжения агрессивной политики России. Положение дел (в этой картине происходящего) будет усугубляться из-за того, что высшее руководство страны, продолжая свои геополитические игры, постепенно теряет чувство реальности, что грозит ввергнуть страну в военные авантюры, которые не могут кончиться не чем иным, как катастрофой[4]. В лучшем случае это будет позорный мир, близкий к поражению (как это было в Афганистане или Чечне), или крах экономики, не выдержавшей новой гонки вооружений, разорение населения. Эффективность государственного управления явно снижается из-за накапливающейся некомпетентности правящей бюрократии, причина которой — негативные последствия подбора кадров по критерию личной беспринципности и лояльности, не контролируемые и не сознаваемые властью, а также коррупция, разъедающая исполнительскую дисциплину управления, ведущая к скрытой децентрализации власти[5]. Попытки руководства бороться с этими явлениями путем ужесточения выборочных наказаний отдельных чиновников, перераспределением власти в регионах в пользу силовиков (доля силовиков в региональной администрации постоянно увеличивается) воспринимаются населением с недоверием и никак не влияют на укрепление доверия и легитимности режима. Участившиеся в последние годы показательные процессы против высокопостав-

---

[1] В советское время (даже не при Сталине, а уже при Хрущеве) налоги на частников, ЛПХ колхозников и горожан в малых городах и ПГТ разоряли страну, вели к бегству сельского населения в города, создав условия для хронического голода или дефицита продуктов питания.

[2] См. аналитический доклад «Стресс-тест на пол-России. Технологии электорального доминирования и их ограничения. Анализ региональных выборов 2018 г.». Авторы Н. Зубаревич, А. Кынев, Н. Петров, К. Рогов. М.: Либеральная миссия. 01.10.2018. URL: https://www.liberal.ru/anons/7275 и *Рогов К.* Дрейф на льдине, не похоже на Крым // «Новая газета». № 1. 09.01. 2019. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/08/79126-dreyf-na-ldine-ne-pohozhey-na-krym

[3] См., например, одно из многих подобных заявлений, сделанных Гарри Каспаровым: «Мы присутствуем при агонии режима Путина» // Радио «Свобода», 14 декабря 2018 г. URL: https://www.svoboda.org/a/29654496.html. Следует отметить, что чем меньше поддержка таких партий, тем более категоричным становится тон прогнозов их политических лидеров. При этом сам по себе гипотетический уход Путина у говорящих не вызывает сомнений. Одновременно заметно усилился и градус славословия на федеральных каналах ТВ в честь бессменного президента и его великих свершений.

[4] Здесь и шантаж западных стран угрозой применения ядерного оружия, и провоцирование конфликтов в разных частях мира, и демонстративное военное сотрудничество с Ираном и другими диктаторскими режимами, и поддержка правых сил в Европе, и хакерское вмешательство во внутренние дела разных стран. В какой степени такие угрозы являются пропагандистским блефом, присущим тоталитарным режимам, а в какой представляют собой реальную опасность для мирового сообщества и населения России, сказать невозможно.

[5] Широко разрекламированные нацпроекты, ставшие важной частью популярности президента, оказались невыполненными, как и предсказывали эксперты; новые обещания и планы, еще менее подкрепленные какими бы то ни было реальными расчетами и ресурсами, лишенные каких-то конкретных показателей, воспринимаются обществом все с большим равнодушием.

ленных коррупционеров (как и против протестующих активистов гражданского общества, пользователей Интернета) порождают страх и чувство нестабильности внутри бюрократии, но ничего не меняют в самой организации власти и управления[1]. Перераспределения влияния внутри кремлевских кланов от «экономистов» и «технократов» к «силовикам», становящихся для Путина единственной гарантией его власти и личной безопасности, лишь подчеркивают значение происходящих изменений: ставка делается на стерилизацию выражения недовольства, любых факторов критики режима, дестабилизации сложившегося социального порядка, с одной стороны, и усиление пропаганды, идеологической доктринации населения для сохранения легитимности власти — с другой[2].

Трудности концептуального определения путинского режима: поиски термина

Для нашего анализа важно отметить, что в сознании критиков режима моделью для всех случаев быстро нарастающего краха деспотической власти служат события конца 1980-х — начала 1990-х гг. (общественное и национальное брожение в СССР, коллапс коммунистической системы и всего соцлагеря, свержение режима Чаушеску и т.п.). Дополнительными аргументами, подкрепляющими уверенность говорящих, могли быть более ранние примеры демократического транзита в Латинской Америке, успешные реформы (после целой серии студенческих выступлений против военных автократий) в Южной Корее, Тайване или быстрота развития событий в арабских странах («цветные революции», «арабская весна»), падение Каддафи, недавние события в Армении и проч. Других аналогий или концептуальных образцов для объяснения «предстоящих событий», кроме «демократического транзита» или «демократической революции», вроде бы нет. Поэтому напряженные ожидания «вот-вот начнется» заставляют раз за разом переоценивать силу и смысл отдельных протестных акций и движений[3].

Некоторым оправданием интеллектуальной слабости российского экспертного сообщества может быть то, что и в мировой политологии особого концептуального разнообразия, необходимого для описания и анализа процессов в посткоммунистическом мире, также не было и нет, интерес к ним заметно ослаб вместе с ощущением угрозы для Запада, исходящей от СССР. Если отвлечься от явного недостатка информации о том, что происходило в закрытом обществе соцлагеря в 1950–1980 гг., можно сказать, что степень и характер интереса к событиям в СССР определялись ощущением той опасности (военной, идеологической), которую представляли тоталитарные режимы для демократических стран.

В послевоенные годы (с 1950 г. по конец 1960-х или даже до начала 1970-х) изучение тоталитаризма политологами, историками, экономистами, социологами не было академическим занятием, мотивированным чисто отвлеченным интересом. В условиях послевоенного противостояния двух мировых систем — западной демократии и советского блока — крайне важно было адекватно оценивать потенциал тоталитарного режима, провозгласившего своей миссией уничтожение западного мира, мобилизовавшего все свои ресурсы для создания мощнейшей военной машины, включая готовность применить ядерное оружие, поддерживавшего в разных регионах мира радикальные социалистические движения и партии. Понимание возможных векторов эволюции тоталитаризма требовало работы сразу в двух направлениях. Первое было связано с глубоким исследованием природы тоталитарных систем, истории их возникновения, описания различных типов господства, институциональной структуры и функциональных особенностей организации власти, пропаганды, влияния идеологии, механизмов массовой мобилизации, террора и др. Второе — с анализом способ-

[1] См. серию статей Н. Петрова в «Ведомостях» (от 22.08.2018, от 30.08.2017 и от 05.09.2017): «Путинская перестройка»; «Репрессии стали механизмом контроля элиты»; «Методы репрессий отрабатываются в регионах» (URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika; https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/30/731537-repressii-kontrolya-eliti; https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/06/732503-metodi-repressii).

[2] Достаточно указать на законопроект о наказании за проявление неуважения к чиновникам, который вначале получил отрицательный отзыв в ряде ведомств, но затем был одобрен ими же и прошел уже вторые чтения в Госдуме.

[3] Так было в момент вспыхнувших, казалось бы, совершенно неожиданно массовых антипутинских демонстраций после выборов 2011 г., давших повод многим политологам упрекать социологию, не способную спрогнозировать массовые волнения и изменения. Предостережения о быстром исчерпании протестного потенциала из-за отсутствия социальной организации движения и неспособности к консолидации, вытекающие из социологического анализа общества и его институциональной системы, не принимались во внимание, равно как и характер крайне националистических первых выступлений против системы (Кондопога, Манежная и др.). Вера в предопределенность и неизбежность демократических и рыночных изменений ограничивали и без того скудный теоретический ресурс наших политологов.

ности демократических институтов западных стран к сопротивлению экспансии тоталитаризма и собственному прогрессирующему развитию, готовности к инновациям, изменениям, адекватным ответам на вызовы нового времени — формированию более справедливого общества. Подавление восстаний или оппозиционных движений в соцстранах (Венгрия 1956 г., Пражская весна, спорадические волнения в Польше в 1956-м, 1967–1968-м и 1970–1971-м, завершившиеся только к 1980 г. появлением «Солидарности» и др.) лишь усиливало значимость и своеобразие западных политических институтов — представительской демократии, независимого суда, свободы прессы, гражданских организаций, постоянно апеллирующих к моральной оценке политики, включая политику прошлого.

Реформы 1990-х гг. завершились путинским поворотом к агрессивному традиционализму, национализму и экспансионистской внешней политике, ликвидацией многопартийности и свободы коммуникаций, доминированием государства в экономике, шельмованием и подавлением не только оппозиции, но и ее социальной почвы — гражданского общества. Нынешнее нарастание интенсивности и объема государственного насилия, сопровождающееся демагогией и циничной пропагандой (которые тоже должно рассматривать как особый вид насилия), независимыми российскими исследователями воспринимается и описывается как вторичное, сопутствующее явление укрепления авторитаризма. Это, дескать, издержки случайно возникшего, необязательного с точки зрения истории (или, что то же самое, логики транзита) авторитарного правления, основанного на кланово-бюрократическом распределении сырьевой ренты. Это временная задержка, откладывание прихода демократии. Насилие здесь мыслится как сопутствующий феномен или условие сохранения власти, оно как бы не имеет самоценного или самодостаточного характера, а потому не может считаться конститутивным свойством путинского режима (и не считается таковым). Ничего специфического или особенного, согласно мнению абсолютного большинства российских экспертов или зарубежных политологов, в этом режиме нет[1]. Напротив, немногие другие — критики Путина, маргинальные в силу своей непримиримости — вписывают его режим в ряд крайних форм диктаторских или фашистских систем господства. Но в российском экспертном сообществе такая квалификация расценивается как неприличная резкость публицистов и выход за рамки профессионализма.

Проблема диагноза и теоретического описания путинского правления и тем более его концептуального определения возникла не сразу. Даже после возобновления войны в Чечне, разгрома НТВ и «дела ЮКОСа» еще долгое время сохранялись иллюзии по поводу намерений Путина продолжать прежний курс рыночных и демократических реформ[2]. Так или иначе, но причины реверсного движения остаются непонятыми, все сводится к случайным обстоятельствам, главным образом к особенностям личности Путина, стилю его руководства, к мотивам реванша старой номенклатуры (в первую очередь силовых структур) и интересам сохранения власти у новой правящей элиты, возглавляемой выходцами из тех же спецслужб и армии. Главной причиной этого я бы считал отказ в признании неудачи (институциональной) модернизации России, что, в свою очередь, требует развернутого объяснения.

Трудности концептуального определения заключаются в первую очередь в том, что применительно к данному конкретному случаю (путинской России) требуется соединить задачи идеографического и номографического определения, описать режим в методологически строгих категориях, с одной стороны, и подвести полученное описание под общие типологические конструкции социально-политических процессов и систем, разработанных политологами в последние десятилетия XX в., — с другой. Если первая задача не вызывает каких-либо особых затруднений (накоплен значительный массив данных о различных аспектах путинской политики в самых разных сферах общественной жизни, от армии и экономики до суда над деятелями искусства и блогерами, арестованными за «экстремизм» и «возбуждение ненависти к социальной группе

[1] «Нормальная развивающаяся страна», по определению А. Шлейфера и Д. Треймана (*Shleifer A., Treisman D.* A Normal Country // Foreign Affairs. 2004. Vol. 84. No. 2. P. 20–38, рус. пер.: Эковест, 2004. Т. 4. № 1. С. 44–78). Резкая критика подхода авторов последовала почти сразу же: *Розенфилд С.* Ненормальная страна // Эковест. 2004. Т. 4. № 2. С. 350–366. Даже в 2008–2009 гг. в дискуссиях на «Ходорковских чтениях» в предлагаемых сценариях эволюции России преобладали варианты умеренного реформизма. Суждения о неизбежности усиления репрессий в России, вытекающие из логики самого путинского режима, воспринимались тогда аудиторией с большим скептицизмом и сопротивлением.

[2] *Гудков Л.* Природа «путинизма» // Вестник общественного мнения. 2009. № 3 (101). С. 6–21.

сотрудников правоохранительных органов» или к чиновникам, к президенту и т.п.), то вторая, теоретическая, характеристика нынешнего российского режима и общества, напротив, повергает исследователей в состояние растерянности и прострации, демонстрируя их аналитическую несостоятельность или беспомощность.

Многие политологи и экономисты (о публицистах сейчас не говорим) пытаются так или иначе квалифицировать сложившуюся систему господства, персонифицируемую Путиным. Этот ряд открывается понятиями *«суверенная демократия», неофеодализм, гибридный режим* (то есть «сочетающий черты диктатуры и демократии»), «*электоральная демократия», авторитарный режим, милитократия, корпоративное государство, «мягкий фашизм», фашизоидный авторитаризм, плутократический авторитаризм, клептократия, мафиозное государство* и т.п. Число подобных определений (все чаще пейоративных) постепенно увеличивается, что говорит о неудовлетворенности исследователей имеющимися характеристиками путинизма. Расширяющееся в мире открыто негативное отношение к нашему национальному лидеру и сформированному им режиму уже нельзя спрятать или нейтрализовать отговорками о традиционной русофобии. Такое отношение все шире проникает в российские СМИ и соответственно в публичное пространство[1].

Дискуссии о том, является ли путинизм разновидностью фашизма или нет, начались примерно десять лет назад после объявления Путиным антизападного курса, усиления цензуры, традиционалистской и имперской риторики в выступлениях кремлевских политиков и СМИ, после войны с Грузией и нарастания конфронтационного тона в отношении к Украине. С аргументами за и против выступали многие известные политологи и публицисты — З. Бжезинский, А. Мотыль, Л. Люкс, В. Иноземцев, Т. Становая и многие другие[2]. В последнее время на эти споры начала накладываться озабоченность многих аналитиков резким ростом крайне правых популистов в Европе и в США[3].

Дело не в поиске выразительного слова (чаще обусловленного моральным неприятием путинизма), а в выборе термина, удовлетворяющего потребности в точности и адекватности. Вопрос: адекватности чему? Отличие терминологически закрепленного понятия от оценочной характеристики заключается в том, что **термин** предполагает: а) связь с исходной теорией, в которой он получает дефиницию и методическое ограничение; б) возможность разворачивания объяснительного или дескриптивного потенциала определяющей его концепции, конструкции, фиксируемой этим понятием, а значит, в) операционально последовательную работу, предписываемую логикой теории. В то время как трудности оценочного слова-характеристики (допустим, «чекистская клептократия» или «фашизоидный режим») не сводятся исключительно к пейоративной функции — акценте на негативных коннотатах, которые оно затрагивает, они указывают на многие ***фактические*** (подтвержденные, доказанные) особенности данной системы господ-

---

[1] По ряду соображений я привожу лишь те высказывания, которые прозвучали в «солидной» российской печати, не вызывающей упреков в «экстремизме» или «продажности»: См., например: «Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете... Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран», — писал Борис Джонсон в декабре 2014 г., за полгода до своего назначения министром иностранных дел Великобритании. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2018/07/09/775021-10; Побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с российским правительством все равно что «иметь дело с мафией», сообщает Associated Press. Делегация американских законодателей впервые с 2016 г. побывала в Москве с 30 июня по 4 июля, об итогах поездки сенатор рассказал 9 июля в Вашингтоне. «В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор. «РИА Новости». URL: https://ria.ru/world/20180710/1524277823.html; то же в https://www.rbc.ru/politics/10/07/2018/5b44444f9a7947d31ed31d51; http://nsn.fm/hots/posetivshiy-rf-senator-ssha-sravnil-pravlenie-putina-s-mafiey.html «Главный вектор все более ярого и реваншистского национализма в официальной политики Российского государства является реставрационным, а не революционным, как в фашизме». *Уиланд А.* Является ли путинский режим фашистским? Западно-российский клинч? Текущие споры о «фашизма» и «империализме» Кремля // «Гефтер». 2018. 7 мая. URL: http://gefter.ru/archive/24860?_utl_t=fb; см. также: *Umland A.* Russischer Nationalismus. Der postsowjetische politische Diskurs und die neue faschistische Gefahr // Phase 2. Zeitschrift gegen die Realität. 2019. 13.01. URL: https://phase-zwe.org//hefte/artikel/russischer-nationalismus-644/

[2] *Иноземцев В.* Вставай, страна огромная: как фашизм возвращается 70 лет спустя. URL: http://daily.rbc.ru/opinions/politics/22/06/2015/5582da729a794713ec1a6b91

[3] «Слово “фашизм” теперь — на фоне глобального подъема крайне правых демагогов вроде Дональда Трампа, Марин Ле Пен, Виктора Орбана, Нарендры Моди и Реджипа Тайипа Эрдогана — вертится у всех на языке. … Мы все глубоко инвестировали себя в идеологию и психологию фашизма». *Синг Чаудхари А., Шапп Р.* Рейх суперменеджеров. Американские ученые против американских политиков: вердикт без суда? // Los Angelos Review of Books. 2016. November. No. 7 (русский перевод на сайте «Гефтер» от 06.12.2017).

ства, привлекая внимание к отношениям между составляющими ее звеньями или внешними структурами)[1]. Другое дело, что в дальнейшем такие связи не могут последовательно разрабатываться, поскольку функция оценки — побуждение к практическому действию, осуждению режима или апелляция к негативной консолидации против него, а не объяснение (понимание смысловых связей). В этом плане оценка, **оценочное суждение** дает лишь однократный эффект, если рассматривать его с точки зрения логики исследования. Яркий эпитет может возбудить исследовательский интерес, но само по себе оценочное высказывание не предполагает *методического предписания действия и продолжение понятийной работы*, то есть указания на возможности подключения логических инструментов других достоверных или проверенных теорий и концепций к интерпретации значимых в проблемном отношении эмпирических наблюдений и фактов. У меня возникает несколько принципиальных возражений против такого рода научной работы.

Во-первых, стремление дать однозначную (сущностную) характеристику путинской системе господства и закрепить ее типологическое сходство с рядом других недемократических режимов (деспотических, диктаторских, несвободных) ведет к гипостазированию, опредмечиванию определения, лишая режим своеобразия и индивидуальности (идеографических характеристик), равно как и необходимости учитывать его изменения. Упрощение (или смысловое обеднение содержания) удобно, если познавательный процесс сводится, как это принято в современных социальных и политических науках, к фиксации отклонений от общей модели или схемы трактовки социальных процессов в развивающихся или переходных странах, когда за образец принимается нормативная модель завершенной модернизации (вестернизации, европеизации). Такая манера или установка интерпретаторов соответствует нормам и духу профессионального сообщества, консенсусу — сложившейся в конце 1970–1980-х гг. парадигмы *транзитологии*, получившей свое завершение и полную концептуальную рутинизацию в операциональной методике измерения ценностей Р. Ингельхарта[2]. С методологической точки зрения преобладание таких установок является симптомом познавательного тупика или отказом от познания, превращения научной деятельности в решение типовых задач с готовым ответом. Оборотной стороной этой когнитивной ситуации оказывается мода на Big Data, то есть возвращение к давно прошедшим стадиям философии науки — парадигме эмпирического индукционизма, в рамках которой предполагается, что накопление описательных, «эмпирических» данных может служить основанием и толчком для теоретической генерализации и построению гипотез, что сам обильный материал (должным образом статистически обработанный) даст стимул для больших закономерных обобщений. То, что факт уже содержит теоретические посылки, что эмпирические данные конституированы определенным теоретическим и концептуальным интересом, при этом явно не сознается, не понимается, а потому и не принимается во внимание. (В строгом смысле такое положение вещей в науке означает вторжение экстранаучных сил и влияний, внешних по отношению к академической среде интересов.) Наивность такого образа мысли маскируется претензией на новизну подхода, значимой в условиях академической конкуренции за научный авторитет, или для влиятельных представителей внешних по отношению к науке инстанций.

Во-вторых, каждое из подобных определений путинизма оказывается статичным и вневременным (или безвременным). Хотя навешивание концептуальных или оценочных ярлыков позволяет дилетанту ориентироваться в массе разнородных сведений, статичность определения закрывает возможности для понимания динамики этой социальной системы, *ее генезиса*

---

[1] *Dawisha K.* Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? N.Y., Simon & Schuster. 2014; «Путинская клептократия» — интервью с Карен Давиша // Радио «Свобода». 29 августа 2017 г.; *Mommsen M.* Das Putin-Syndikat; München, C.H. Beck, 2017. Мадьяр Б.: «…то, что крадут клептократы, — это доходы, денежные потоки. Дальше идет хищническое государство, когда вы не просто нелегально перенаправляете потоки доходов, но и забираете чужую собственность, раздавая ее другим членам своей "политической семьи"». «"Мафиозное государство" — это не просто клептократия, а хищнический режим, где процветает ярко выраженное централизованное рейдерство. Это то, что случилось в России и в Венгрии». *Мадьяр Б.* «Мафиозное государство. Россия уже прошло точку невозврата». URL: https://www.colta.ru/articles/mosty/18126-balint-madyar-mafioznoe-gosudarstvo-rossiya-uzhe-proshlo-tochku-nevozvrata

[2] В ведущих российских университетах такой подход почти единодушно считается единственно научным; здесь совпадают интересы преподавателей — эпигонов западной мысли и властей, нуждающихся в признании России «нормальной развивающейся» страной, такой же, как «все» или как многие другие (что должно снять упреки в эксцессах авторитарного плутократического правления). Другими словами, проблема в том, как соединить «нормальную страну» и «Великую державу». Первая трактовка предназначена для условно внешнего потребителя (российского обывателя, смотрящего на себя как бы «чужими глазами» и тем самым идентифицирующегося с этим «мнением»), вторая — для внутреннего, горделивого.

и последующей эволюции. Поэтому неизбежным дополнением к такой установке становятся иллюзии внезапного изменения (краха режима, демократизации общества, доброй воли каких-то реформаторов из числа раскольников в путинском окружении), вера в «черных лебедей» (не менее модной посылки российской оппозиции), в то, что внезапный взрыв массового недовольства и возмущения сметет в близком будущем режим. Мотивы этой веры — субкультурные ценности и желания смены власти (перенос собственных представлений о том, что аморальная политика коррумпированных и некомпетентных чиновников не имеет достаточной поддержки в населении). Фактических оснований для этих взглядов нет, но... «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Поэтому отрицаются все факты и данные, расходящиеся с подобной установкой.

Возражения третьего типа (с методологической точки зрения самые существенные) сводятся к тому, что режим господства (и общество) при таких определениях мыслится как целостное, однородное и одномерное образование, как *антропоморфный субъект действия* по отношению к таким же однородным и плоским в смысловом плане сущностям — «обществу» (= российскому населению) или другим странам (в первую очередь самым развитым и влиятельным в мире, гипостазированным «Западу», США, «Европе», «Китаю», исламскому миру и т.п.). Антроморфизация режима закрывает методические и теоретические возможности иного подхода, более адекватного для социологической работы: рассмотрение режима (системы господства) как структуры взаимодействия обладающих разным пониманием ситуации, видением партнера, мотивами и интересами акторов, то есть анализом ситуации в категориях борьбы, повиновения, условного консенсуса, взаимной манипуляции друг другом, готовности к обману и быть обманутыми, адаптации и т.п.

Постановка вопроса: есть ли выход из тоталитаризма?

В 1951 г. Дэвид Рисмен, один из самых авторитетных американских социологов 1950–1960 гг., утверждал, что разложение тоталитаризма будет происходить под влиянием роста и расширения масштабов коррупции, теневой экономики, политической апатии населения, которые он рассматривал как признаки процессов деидеологизации[1]. Исходя из личного опыта (в 1931-м он приезжал в СССР), Рисмен утверждал, что идеологические фанатики со временем должны уступить место беспринципным и коррумпированным чиновникам, функционерам, озабоченным уже не планами реализации утопии коммунистического общества, а повседневным самосохранением своего положения и собственным обогащением.

Тем самым, если я не ошибаюсь, Д. Рисмен первым поставил вопрос, какие внутренние факторы, порождаемые самим характером функционирования таких режимов, могли бы привести к трансформации или распаду тоталитарных систем. Можно спорить, оправдался его прогноз или нет (после этого заявления советская система прожила несколько больше, чем до того), и приводить аргументы за и против, ссылаясь на различные свидетельства, документы или литературные произведения[2],

[1] «Мы должны пересмотреть и по-иному оценивать роль коррупции в обществе, в меньшей степени подчеркивая ее негативные свойства и в большей степени ее способность служить антидотом к идеологическому фанатизму». *Riesman D.* Some Observation on the Limits of Totalitarian Power / *Riesman D.* Abundance for what? And other Essays. Anchor Books Edition; Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York, 1965. P. 80. В основе цитируемой статьи положен доклад, прочитанный им в Нью-Йорке в 1951 г. на 2-й конференции по тоталитаризму, организованной Американским комитетом за свободную культуру. Первая публикация доклада состоялась в: The Antioch Review. 1952. Vol. 12. No. 2. P. 155–168.

[2] Самым известным в советское время «документом» такого рода, а именно свидетельством сосуществования разновременных культурных и временных пластов, нормативных систем, адаптивных механизмов, гетерогенных социальных и моральных представлений складывающегося тоталитарного социума, следовало бы считать романы И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» (1928) и, в еще большей мере, «Золотой теленок». Работа над последним началась в 1928 г., публикация, первоначально за рубежом, — в 1931-м, в СССР — в 1933-м. Пример А. Корейко, скромного служащего советской бюрократической конторы «Геркулес», позволил авторам обозначить схемы крупномасштабных коррупционных операций и взаимоотношений, напоминающих сегодняшние махинации высших российских чиновников и олигархов. Можно сослаться на совсем раннюю работу Б.Д. Бруцкуса (Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // «Экономист». Пг. 1922. № 1–3; вскоре после этой публикации он был выслан из России по распоряжению Ленина в числе других пассажиров «философского парохода»), в которой он, задолго до Я. Корнаи, делал вывод о неизбежной дефицитарности формирующейся советской социально-экономической системы, вытекающей из самой сути государственного директивно-планового распределения. Хронический дефицит, который он как экономист-практик фиксировал эмпирически и каждодневно, таил в себе непременный административный произвол и бюрократические злоупотребления, которые с течением времени должны были закрепиться в виде статусных привилегий и социального неравенства. Еще более радикально-критические выводы в это же время (в 1922 г.), обоснованные уже чисто теоретически, были сделаны Л. фон Мизесом «Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen űber den Sozialismus» (рус. пер.: *Мизес Л. фон*. Социализм. Экономический и социологический анализ. Москва: Catalaxy, 1994; Москва; Челябинск: Социум, 2016). Впрочем, в каком-то смысле не менее «авторитетным» свидетельством, можно считать работы тех же лет самого В. Ленина, где он пишет о необходимости систематических чисток госаппарата и борьбы с совбюрами.

но мне в данном случае важнее подчеркнуть изменения в самой логике тогдашнего анализа тоталитарных режимов.

«Тоталитаризм» предшественниками и современниками Рисмена (как и сегодня) мыслился как своего рода идеологический и институциональный монолит, опирающийся на массовую поддержку и признание, который можно разрушить лишь в результате военного поражения, как это было с нацистской Германией или фашистской Италией. Представляемая воображением «незыблемость» сращения «государства и общества», их единство и целостность, подразумеваемые в самой идее и метафоре «тотальности» подобных режимов, семантически не допускали какого-либо концептуального хода, предполагающего их внутреннее изменение. Эта ригидность понятийной конструкции во многом стала причиной не только критики теорий тоталитаризма, но и отказа от самой этой концепции[1]. Хотя и до Рисмена были исследователи, которые указывали на неоднородность тоталитарных систем, наличие различных групп интересов, ведомственных кланов, борющихся между собой, идеологических течений, но на них мало кто обращал внимание из тех, кто работал с понятиями тоталитаризма (точнее, не делались необходимые выводы из подобных наблюдений и высказываний)[2]. В то время усилия исследователей тоталитаризма были сосредоточены на том, чтобы фиксировать и описывать эмпирические характеристики таких принципиально новых для того времени специфических образований, как нацизм, фашизм и советский коммунизм, выделяя их общие черты, схожесть их структуры и функционирования.

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. еще были неясны судьбы восточноевропейских стран, включенных в общие границы соцлагеря, непонятным было будущее Китая, оказавшегося под руководством Мао Цзэдуна. Еще не были введены в научную дискуссию две принципиально важные в теоретическом плане работы: «Истоки тоталитаризма» Х. Арендт (книга еще не вышла из печати, хотя сам текст был закончен в 1949 г.) и доклад о «тоталитарном синдроме» К. Фридриха (1953), в котором были сформулированы программные тезисы для сравнительно-типологических исследований и анализа институциональных структур репрессивных режимов (это будет сделано лишь в 1956-м в совместном докладе К. Фридриха и З. Бжезинского). Но Рисмен, не затрагивая в теоретическом плане природу тоталитаризма, уже тогда задался вопросом: где искать факторы изменения подобных социальных систем? Идея коррупции[3] здесь важна именно в методологическом плане как одно из решений при поисках способов теоретической фальсификации тезиса *о тоталитаризме как идеократии*, то есть воспроизводстве идеологических ресурсов массовой поддержки репрессивного режима.

Но уже после кубинского кризиса 1962 г. осознание угрозы гарантированного самоуничтожения противоборствующих сторон и достижение ядерного равновесия сместили фокус интереса ученых. Стало понятным, что противостояние двух систем — это надолго, что перспективы развития будут определяться человеческим потенциалом каждой из них, способностью генерировать идеи, ресурсами технологического развития, а значит, качеством образования, возможностями воображения, прогнозирования, предвидения, в конечном счете культурой и моралью общества. Однако постепенное ослабление внимания к угрозе, исходящей от тоталитаризма, до определенного момента не сказывалось на углубленном изучении исторических и идеологических факторов его формирования.

В 1960–1970-х гг. главным предметом изучения политологов и социологов стали вопросы функционирования демократических институтов в различных странах (политическая антропология, политическое поведение, вопросы парламентаризма), модернизации в самом широком плане, включая процессы деколонизации, появление постиндустриального массового и потребительского общества[4]. Безуслов-

---

[1] Обвинения в «идеологической предвзятости» (тоталитаризм как оценочное понятие, как идеологический инструмент холодной войны), с моей точки зрения, сыграли здесь вторичную роль. Главное — невозможность на тот момент концептуального развития понятия.

[2] *Э. Френкель* (*Fraenkel E.* The Dual State. New York, 1941) описывает нацистское «двойное государство» как амальгаму или множество секторов с собственными, хотя и ограниченными суверенитетами. Фюрер играет здесь роль арбитра между разными силовыми структурами и группами интересов; см. также: *Neumann F.* Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism (New York, 1942; рус. пер.: *Нойманн Ф.Л.* Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933–1944. СПб.: Владимир Даль, 2015); *Kershaw I.* Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933–1945. Oxford, 1983.

[3] «Я буду обсуждать апатию, коррупцию, свободное предпринимательство, преступность и т.п. угрозы системы безопасности Советов…». *Рисмен Д.* Цит. соч. С. 78.

[4] Приводимые здесь и ниже работы никоим образом не претендуют на какую-либо библиографическую полноту, это не более чем способ напомнить читателю о времени появления самых авторитетных исследований и дискуссионных компендиумов, таких как: Masse und Demokratie. Hrsg. von A. Hunold, Erlenbach-Zűrich, 1957; *Липсет М.* Политический человек. Социальные основания политики (первое издание

ное лидерство западных стран (США, Европы, Японии, «азиатских тигров», Австралии) показали однозначный характер направленности мирового развития, хотя сама по себе модель модернизации претерпела значительные изменения, стала многомерной, демонстрируя разные социально-экономические траектории быстрой и прогрессирующей эволюции, усложнения социальной структуры обществ этих стран. «Политически это была альтернатива социалистическим идеям, которым США активно противостояли в странах тогдашнего третьего мира. В плане теории основатели школы модернизации (Люсиан Пай, Уолт Ростоу, Эдвард Шилз, Габриэль Алмонд, Сэм Хантингтон) постулировали, что существует только один, и только один, путь к развитой современности, на стадии которой классовые конфликты затухают и сменяются политическим плюрализмом и спокойно ассимилируют меньшинства, экономика вступает в устойчиво бескомпромиссную динамику роста, массовое потребление удовлетворяет потребности населения, а на смену чадящим фабрикам и заводам приходит постиндустриальная футурология»[1].

В 1970-е гг. идея тоталитаризма как полного синтеза государства и общества («партии-государства», «общества-государства», корпоративного государства), означающего массированное проникновение государственной системы, массового управления в сферы общественной жизни, ранее не подлежащие идеологическому, полицейскому, партийному, административному контролю (экономика, производство, мораль, семейная жизнь, воспитание и образование, религиозное поведение, культура, наука, социальная мобильность, правовая и судебная системы и т.п.), подверглась острой (хотя и не слишком основательной) критике левыми идеологами и политиками (социал-демократическими и коммунистическими партиями), рассматривавшими эти доктрины не как научную парадигму, а как закамуфлированные под научные теории идеологические акции холодной войны. Два обстоятельства способствовали подобному отношению к концепции тоталитаризма. Первое — отталкиваясь от самого факта, что неприятие тоталитаризма стало конститутивным основанием для новой послевоенной демократической государственности во многих странах, прошедших через тоталитарные системы господства (Германия, Италия, Франция), а значит, озабоченных мерами, делающими недопустимым возвращение к практикам тоталитарных режимов. В этом плане идеология демократии (как антитоталитарная политическая система) стала частью блокового мышления (прежде всего в США и Великобритании) и противостояния двух систем — капитализма и социализма. Поэтому левые отвергли в целом и всю парадигму тоталитаризма, включая и те теории, которые рассматривались в качестве методологии исследований репрессивных режимов, а не только как социально-политические описания конкретных исторических систем (нацизма, Советского Союза и проч.).

Второе — неприятие генерализованных понятий в социально-политических науках или сравнительно-типологических конструкций, характерное для работы историков с их приверженностью идеографическим способам обращения с историческим материалом, точно так же вызывало отторжение многих ученых от социально-философского подхода, представленного прежде всего работами Х. Арендт, Р. Арона и других исследователей фашизма, нацизма и советского коммунизма. Наиболее значимым в этом плане стало появление школы «ревизионистов» (Шейла Фитцпатрик и др.), подвергших критике или поставивших под сомнение сам тезис о тоталитаризме как «идеологическом

"Political man. The social bases of Politics" — в 1960 г.; рус. изд.: М.: Фонд «Либеральная миссия»; «Мысль», 2016); Parlamentarismus. Hrsg. von K .Kluxen. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1967; *Huntington S.* Political Order in Changing Societies (1968; рус. пер.: *Хантингтон С.* Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004). *Putnam R.D.* The Beliefs of Politicians: Ideology, Conflict, and Democracy in Britain and Italy. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall (1976); *Putnam R.D.* Bureaucrats and Politicians in Western Democracies (with J.D. Aberbach and B.A. Rockman, 1981); Demokratie am Wendepunkt. Die demokratische Frage als Proekt des 21.Jahrhunderts. Berlin, Siedler Verlag, 1996 (особый интерес представляют опубликованные здесь статьи К. Оффе, К. фон Бейме, А. Этциони, Ч .Тэйлора, К. Брахера, П. Харди и других именитых авторов). Я хотел бы подчеркнуть еще одно обстоятельство: разрыв во времени оригинальных первоизданий подобных работ и их перевода на русский язык, соответственно длительность времени (лаг) вероятной рецепции идей авторов более широкой публикой в России, с одной стороны, а также кем был подготовлен перевод — с другой (МШПИ, фонд «Открытое общество» Дж. Сороса, позднее РОССПЭН и «Либеральная миссия»). Особых дискуссий в России вокруг самих работ, критического разбора их или адекватности, пригодности выдвинутых принципов и подходов для российской проблематики не было. В очень охлажденном и догматическом виде эти идеи представлены лишь в некоторых: *Пшеворский А.* Переходы к демократии // Путь. 1993. № 3. (URL: http://read.virmk.ru/p/Pshevorski.htm); *Пшеворский А.* Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999.

[1] *Дерлугьян Г.* «Демократия как озеро». Предисловие к русскому изданию книги Ч. Тилли «Демократия». М., 2007. С. 7.

монолите»[1]. Историки этого направления стремились показать неоднородность убеждений, двойственность норм повседневной жизни в условиях нацистской Германии и в еще большей степени при сталинизме 1930–1950-х и в хрущевском или брежневском СССР. Позднее их подход был подхвачен и российскими историками (Е. Зубковой и многими другими, описывающими советскую повседневность, праздники, быт). В итоге в исторических и отчасти политических науках за тоталитаризмом закрепилось представление только как о режиме «идеократии» и террора. Эта позиция сохранилась практически без изменений и в постсоветские годы, особенно в конце 1990-х и в 2000-е. Массовые выступления рабочих против тоталитарных режимов в соцстранах[2], многочисленные этнонациональные конфликты, религиозная жизнь и религиозное инакомыслие, появление в конце 1950-х — начале 1960-х диссидентского движения, самиздата, наконец, открытый политический протест в сочетании с подпольными или неподцензурными организациями в СССР ставили под вопрос само обсуждение существования такого явления, как «тоталитарное общество-государство».

Речь в данном случае идет не просто об абстрактных понятиях кристаллизации наследия эпохи Просвещения и европейского модерна. Важно подчеркнуть, что этот круг общественно-правовых представлений соединился с трагическим опытом осмысления Второй мировой войны, осознанием последствий тоталитарных режимов и преодоления соблазна тоталитарных идеологий. Можно сказать, что демократия в вышеуказанном смысле (при всех различиях ее конкретных государственно-правовых форм) в послевоенное время стала рассматриваться как единственная система, защищающая общество от узурпации власти и геноцида, государственного насилия. Поэтому связь между аттрактивностью либеральных или демократических ценностей и вестернизацией (транзитом) виделась как самоочевидная неизбежность. Именно подобная философия лежала в основе всей политологии 1980–1990-х гг.[3] Главная задача социальных наук на тот момент сводилась не только к систематизации того, что было наработано ранее, к выработке более или менее упорядоченной и логически непротиворечивой системы понятий эволюции государственных систем (от традиционалистского абсолютизма до либеральной демократии), их формализации до степени, допускающей количественное измерение, математическую обработку больших объемов данных, но и к классификации важнейших отклонений от демократии, интерпретируемых прежде всего в качестве переходных фаз или временных девиаций. Позже появились эклектические понятия, призванные снять нарастающую когнитивную или объяснительную недостаточность основных инструментов этого подхода: «гибридные режимы», «электоральная демократия», вплоть до полной бессмыслицы, вроде нелепого по самой своей сути словообразования — «промежуточные институты» (выражение Е. Шульман)[4].

Но уже к середине 1980-х ситуация начала меняться. Полномасштабный социальный, экономический, политический и национальный кризисы в СССР, распад военных режимов, переходных диктатур, возникших в ходе различных кризисов модернизации в Азии,

[1] Отвечая на это, Х. Линц указывал, что ограниченная гетерогенность разных групп интересов в условиях тоталитарных режимов не меняет характера этой системы. «Плюрализм тоталитарных систем — это не общественный плюрализм, а плюрализм политический, причем исключительно внутри правящей политической элиты… участники этих конфликтов искали и находили союзников среди военных, бюрократов и бизнесменов, но *было бы большой ошибкой считать перечисленных выше людей или организации представителями донацистских структур германского общества*. То же самое, вероятно, можно сказать и о борьбе разных фракций Политбюро или ЦК после смерти Сталина». *Линц Х.* Тоталитарные и авторитарные режимы // Неприкосновенный запас. 2018. № 4 (курсив мой. — *Л.Г.*).

[2] Берлин, 1953 г., Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г., Польша 1956 и 1970 гг., появление «Солидарности» и т.п.), отрывочная информация о массовых волнениях в СССР, самым известными из которых были события в Новочеркасске.

[3] См., например, солиднейший компендиум A New Handbook of Political science (Oxford University Press, 1996), подготовленный Р. Гудиным м Х.В. Клингеманном, представляющий собой аналитический обзор основных проблемно-тематических разработок и концептуальных подходов в политологии, существовавших в середине 1990-х гг. Как пишет инициатор и научный редактор русского издания («Политическая наука: новые направления». Вече-Москва, 1999. 816 с.) Е. Шестопал, к моменту перевода на русский язык «американоцентризм современной политической науки в определенном смысле уже исчерпал себя. Несомненны успехи американской и западноевропейской политологии как в постановке, так и в трактовке многих проблем современного политического процесса. Но исследователи стран бывшего второго и третьего мира не могут прямо воспользоваться теоретическими наработками, сделанными на материалах индустриально развитых демократий» (с. 11). Трактовка политического поведения в западной политологии поэтому строилась преимущественно на аналогиях с экономическим поведением (модели «рационального выбора», различия в поведении «избирателей-вкладчиков» и «избирателей-потребителей» (там же, с. 277) и т.п. Характерная черта эпохи: этот уникальный энциклопедический ридер издан при финансировании и поддержке фонда «Открытое общество» Дж. Сороса, спустя несколько лет объявленного нежелательной организацией в России, «ведущей подрывную деятельность против российского государства».

[4] *Шульман Е.* Демократизация по ошибке. Как самосохранение власти приводит к переменам. Московский центр Карнеги. 07. 12.2017. URL: http://carnegie.ru/commentary/74926

Латинской Америке, Африке определили новый круг исследовательских задач по описанию и анализу устойчивости авторитарных форм правления.

Начавшийся кризис советского социализма — горбачевская политика «перестройки и гласности», демократизация политической жизни, а затем общий распад советской системы и соцлагеря в 1989–1991 гг. — снял вопрос о проблематике тоталитаризма, причем не только о будущем таких режимов или тем более о характере их эволюции, типах изменения или институциональной реконфигурации, но даже и вопрос об их появлении, становлении или функционировании. Само обращение к понятийному языку парадигмы тоталитаризма в начале 1990-х в западных социальных науках стало казаться архаической манерой, рудиментом эпохи холодной войны. Этот словарь оказался неадекватным для анализа текущей политики в западных странах. Зависимость российских политологов и социологов от моды в западных социальных науках обернулась тем, что эти оценки концептуального аппарата тоталитаризма были некритично перенесены в практику постсоветских исследований.

Сравнительно недолгая история постсоветского развития говорит, что эволюция разных государств на постсоветском пространстве шла в основном по двум линиям. Первая наблюдалась там, где до аннексии этих государств СССР уже было свое национальное государство, гражданское общество, религия и церковь, соответственно свои культура и история, — это страны Центральной и Восточной Европы (демократические, как в довоенной Чехословакии, или консервативные и авторитарные, как в Польше или в Балтии, или даже близкие к фашизму, как в Венгрии и Румынии), отчасти — Украина, Грузия, Армения (в последнем случае благодаря армянским общинам в других странах). Вторая — где советская система, новая империя была инкубатором национальных элит и государственности советского типа, это государства, возникшие после краха СССР в Средней Азии, Казахстане, Молдавии, Азербайджане, в очень большой степени воспроизводившие особенности советской тоталитарной системы. Предпосылки успешного демократического транзита с большей вероятностью можно найти там, где сильнее проступают следы прежней социальной и культурной структуры, где сохранились основания для социальной — групповой, этнонациональной, классовой, региональной — автономии и дифференциации, где представлено какое-то разнообразие легально признанных групповых интересов и социальных движении, а значит, где есть люди, сознающие личную ответственность за положение дел в будущем и готовые отстаивать свои мнения и права на участие в публичной деятельности и занятиях[1].

В первом случае можно говорить о различных модификациях репрессивного Советского государства, о деспотиях или диктатурах, во втором — о трудном, но не безнадежном движении к демократии и свободе, которое может быть поддержано помощью других демократических государств и обществ[2]. В первом случае эта помощь оказывается бесполезной.

Таким образом, как минимум на два десятилетия после краха СССР тема «тоталитаризм» (как и дисфункциональных явлений «догоняющей модернизации») исчезла из поля интересов западных социальных ученых. На первый план вышла тематика перехода, практической транзитологии, сравнительный анализ различных вариантов демократизации незападных или полузападных стран, «столкновения цивилизаций», поиск историко-культурных факторов сохранения немодерных форм социальной организации, равно как и антилиберальных установок внутри современных обществ. Главными понятийными инструментами (своего рода полюсами или разметкой аналитической шкалы) стали категории «авторитаризм», «авторитарные режимы» и либерализм, демократия, электоральное поведение, защита прав человека, толерантность, мультикультурализм, аккультурация и т.п.

Основные усилия ученых в сфере социально-политических дисциплин, начиная с конца 1980-х, были направлены на описание транс-

---

[1] См., например, интересные работы Н. Коровицыной — историка процессов социальной трансформации в Чехословакии: *Коровицына Н.В.* Агония соцмодернизации. Судьба двух поколений двух европейских наций. М.: Наука, 1993; *Коровицына Н.В.* Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М.: Наука, 1999; *Коровицына Н.В.* Восточноевропейский путь развития: социокультурные контуры. М.: Наука, 2003; *Коровицына Н.В.* «С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития» М.: Наука, 2003; *Коровицына Н.В.* «Бархатные» революции как феномен массового сознания восточноевропейцев // Революция 1989 г. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Взгляд через десятилетие. М.: Наука, 2001.

[2] Эти обстоятельства, разумеется, не являются гарантией успешности перехода к демократии, даже при условии вступления в европейские структуры. См.: *Крыстев И.* [И. Крастев]. «Превращение» Центральной Европы. Почему подражание Западу неизбежно ведет к национальному ресентименту // IPG. Международная политика и общество. 30.01.2019. URL: https://www.ipg-journal.io/rubriki/evropeiskaja-integracija/statja/show/prevrashchenie-centralnoi-evropy-715/

формации авторитарных и репрессивных режимов, институциональных реформ, на появление в этих странах относительно свободных выборов, увеличение доли представительских институтов, расширения сферы публичности, свободы печати, ослабления государственного контроля в разных социальных сферах, включая экономику, образование, гражданское общество[1].

Способ осмысления идущих процессов сохранял свой нормативный в методическом плане характер: различные формы социально-политической организации и общественных структур сравнивались с (мысленным, идеализированным) эталоном процессов или институциональных структур западных стран (британских, американских, шведских и т.п. институтов), а отклонения рассматривались как факторы препятствия, иррационального традиционализма, редуцируемых к религии, национальному прошлому, централизации власти и т.п. Подход американских политологов того времени оставлял за рамками исследования какие-либо проблемы развития, лежащие вне парадигмы транзитологии. В первую очередь это касалось постсоветского пространства. Коллапс советской системы в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и последовавшая за этим эйфория на Западе («конец истории») отодвинули на задний план проблемы природы и истоков тоталитаризма. Стремительный рост экономической мощи Китая укреплял надежды на то, что рост благосостояния, в первую очередь формирование китайского среднего класса, рано или поздно приведет к либерализации и размыванию диктатуры КПК, внутренней модернизации, появлению более открытого общества и т.п., тем более что развитие современных информационных технологий давали все основания для такого оптимизма.

На первых порах нормативный (и, что не менее важно, идеологически предвзятый) характер такого подхода был не слишком очевиден. Западные модели демократии (американской в первую очередь, но также и англосаксонской — австралийской, новозеландской и т.п.) и западноевропейского правового государства рассматривались как «естественные блага», представляющие несомненную («самоочевидную») ценность, якобы значимые для всех «нормальных» и «современных людей». В этот комплекс идей и представлений входило и понятие общества, защищенное разделением властей, и открытая политическая конкуренция партий, и свободомыслие, публичность (хабермасовская интерпретация Öffentlichkeit), критический рационализм, свобода печати и слова, защита прав человека во всех мыслимых планах, включая и полный разрыв с традиционными воззрениями на мораль, коллективную идентичность, универсализм ценностей и ментальных практик.

Теории модернизации порождали (не у исследователей, а у широкой публики) надежды или иллюзии на постепенное сближение двух систем или даже на их конвергенцию, порождаемые пониманием границ конфронтации в эпоху холодной войны, которые ставятся, несмотря на всю гонку вооружений, самим фактом наличия ядерного оружия у двух супердержав, угрозы безусловного взаимного уничтожения при переходе «красной черты». Поражение СССР, крах социалистической системы не просто дискредитировали саму идею коммунизма, равно как и других тоталитарных идеологий и систем, но и резко ослабили страх перед еще одной мировой войной. Рост благосостояния в конце 1980-х и в 1990-е заставил население развитых стран забыть о прежних угрозах гарантированного уничтожения в случае новой войны, а длительный период благополучия, усиление европейской интеграции явно ослабили хроническое сознание внешней угрозы, исходящей от СССР. Ослабление факторов негативной консолидации привело к тому, что актуальную государственно-политическую повестку стали определять внутренние, локальные, социальные проблемы, существовавшие и ранее, но теперь вышедшие на первый план.

Но главное — в ходе смены поколений и длительного периода процветания, стабильности государства оказался забыт опыт катастроф, притупился страх перед государственным насилием, террором и т.п. явлениями, казавшимися либо давно ушедшими в прошлое (в Европе), либо существующими где-то за пределами сообщества современных стран — в Африке (Руанда, Сомали, Эфиопия, Нигерия, Ливия), в Азии (Афганистан, Пакистан, Рохинджа), Палестине, Ираке, Ливане, Сирии и т.п.

Даже глубокое разочарование в способности постсоветских стран быстро перейти к демократическим формам организации государства (наступившее после некоторого периода

[1] *Huntington S.P.* The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991; рус. пер.: *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003); *Патнем Р.* (в соавт. с Р. Леонарди и Р. Нанетти). Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии (оригинал — Princeton University Press, 1993; рус. пер.: М.: Ad Marginem, 1996, Библиотека МШПИ); *Huntington S.P.* The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996; рус. изд.: *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003).

надежд и явных планов институциональных реформ в первой половине 1990-х) не изменило доминирующую парадигму в социальных и политических науках. Некоторая настороженность стала расти лишь после явного успеха европейской интеграции, включения бывших социалистических государств в состав ЕС и открывшейся перспективы расширения ЕС за счет присоединения к нему в будущем других республик бывшего СССР (Грузии, Украины). Одновременно рост влиятельности популистских правых партий, критика Евросоюза новыми ее членами, демонстративная оппозиция общему курсу ведущих государств в ЕС (Германии), проявляемая Польшей и Венгрией, и, наконец, обострение внутренних отношений в связи с волной миграции в ЕС противников Евросоюза и евроинтеграции, «Брекзит» и т.п. несколько озадачили современных политологов, но еще не привели к концептуальным изменениям в принятых парадигмах социальных наук.

Преобладание скрытого нормативного подхода в ориентированных на американскую политологию социальных науках ведет к сокращению понятийных инструментов для объяснения многообразия социально-политических форм и культуры в незападных обществах. По существу, мы имеем дело здесь с системой координат, в которой все описываемые явления располагаются в поле, представляющем собой набор шкал или континуумов, где один из полюсов задан генерализированными образцами современности (обозначенных экстремными понятиями завершенной модернизацией, полноценной демократией, свободной рыночной экономикой, правовым государством с четким и устойчивым разделением властей), а любые возможные оппозиторные полюса — моделями традиционных автократий, диктатурами, деспотиями, тоталитарными режимами с неразделенными понятиями власти и собственности, полным произволом, террором, отсутствием свобод и незащищенностью подданных от насилия. Вся система интерпретации в таких случаях сводится к подгонке описываемого идентифицируемого явления под определенный класс таксономии и размещению его в соответствующем участке таблицы. Эта американоцентристская логика свойственна не только политологии, но и экономическим наукам, построенным на основе линейных моделей модернизации, в упрощенном и прагматически ориентированных вариантах — транзитологии, так называемых исследованиях ценностей и др. Отсюда берут начало все те усилия втиснуть в логические нормативные схемы не укладывающееся в них содержание, что порождает понятийные химеры и монстры — «гибридные режимы», «неполноценные демократии», «неопатримониализм» и проч. Все содержательные проблемы, которые непременно возникают в ходе конкретной эмпирической работы социологов, историков, политических аналитиков в той или иной стране, решаются путем теоретической контрабанды и неявного введения в объяснительный процесс других подходов, которые можно назвать более или менее упрощенными вариантами «понимающей социологии», то есть учета субъективных смыслов конкретных действующих акторов или групп.

Примером такой работы может служить чрезвычайно неопределенное понятие — «авторитаризм», «авторитарный режим»; сюда попадают любые недемократические государственные или политические системы с разной институциональной структурой, идеологией, разной степенью репрессивностью и государственного контроля над обществом. «Авторитарными» оказываются правление Туркменбаши, Виктора Орбана, генерала де Голля, Маркеса на Филиппинах, Ли Куан Ю в Сингапуре, Р. Мугабе или Мобуто в Африке, политический строй в Египте, Ираке, Алжире, Ливии (при Каддафи), сукартовская Индонезия, путинизм, латиноамериканские военные режимы и т.п., то есть все государственно-политические системы, которые не являются традиционными абсолютистскими монархиями или современными западными демократиями. При ближайшем рассмотрении определения «авторитарный» «авторитаризм» оказывается остаточной, недифференцированной категорией социальных наук, куда попадают различные феномены, не подлежащие или не нуждающиеся в специальном разборе. Единственный общий признак — стиль правления. Но что это, президентициализм, персонализм, диктатура, тоталитарная система или традиционалистский уклад, сказать нельзя. На попытку Х. Линца детализировать и уточнить структуру этих понятий, сделав акцент на технологии господства, а значит, необходимости учета своеобразия и функций институциональной структуры этих режимов, меняющейся роли идеологии, господствующей партии и т.п. (что позволяло отделить авторитаризм от тоталитаризма и ввести новые подклассы недемократических правлений в виде султанизма, патримониализм и т.п.), мало кто из российских исследователей обращал внимание.

Авторитаризм. Проблемный контекст понятия

Интуитивно большинство исследователей ощущают проблемы, вызванные понятийной неясностью этих понятий и порождаемыми трудностями анализа и интерпретации конкретных явлений, что проявляется в обращении к разнообразным аналитическим суррогатам в виде «гибридных режимов», «имитационной демократии», «персонализма» и т.п. уточнениях, определениях и пояснениях основного понятия. Понятия авторитаризма, авторитарного режима и производные от него не являются дескриптивными инструментами. Это понятия из разряда описанных выше скрыто нормативных конструкций, указывающих на меру дистанцированности рассматриваемого явления от желаемого образца. Но такое его предназначение не решает главной теоретико-методологической проблемы — получения аналитического инструмента для понимания своеобразия и типологии «недемократических» систем господства, использующих разные технологии насилия и принуждения для обеспечения своего существования.

Единственное средство прояснения смыслового поля понятия — начать с истории его употребления.

Успех этого направления (исследования «Авторитарная личность», «Психология политики», работы Э. Фромма, А. Адлера, Г. Маркузе и других политических философов, психоаналитиков, социологов) обязан тем, что методологически здесь снимались многие вопросы, требовавшие специального рассмотрения (генезиса институтов, воспроизводимости и ретрансляции тех или иных феноменов и проч.), то, что позже было развернуто и объединено под общей шапкой «проблематика культуры», с течением времени занимающей все большее место в социальных и гуманитарных исследованиях. Но для 1950–1960-х гг. задача стандартных переменных в объяснениях функционирования социальных систем и процессов была существенно важнее, чем обращение к внешним, «экзотическим» – социальным, культурно-историческим — аргументам. Время веберовского ренессанса еще не наступило. Поэтому черты определенной конструкции личности были перенесены на множество репрессивных или диктаторских режимов, ставших свалкой для целого класса недемократических систем.

Как собственно концептуальное понятие или термин оно возникло в 1930-х — первой половине 1940-х гг. в среде исследователей, группировавшихся вокруг неомарксистской франкфуртской школы и вынужденных эмигрировать из Германии после прихода Гитлера. Для их подхода в первую очередь характерно сочетание марксизма (редукция объяснения к классовому положению наблюдаемых субъектов действия) и психоанализа (фрейдомарксизм). Само слово первоначально предполагало ясный контекст употребления: установление соответствия и взаимосвязи между социально-психологическим типом личности (обусловленного социальным положением индивида, особенностями его социализации, социального контроля, его аспирациями, комплексами) и политической системой, символически представленной фигурой харизматического вождя, фюрера, дуче и политической партией, программные лозунги которой «диагностируют» для фрустрированного субъекта главные проблемы его существования, позволяют идентифицироваться с «движением» и тем самым снимают, разгружают травмирующее его чувство собственной несостоятельности.

Такие разработки находились в русле общих для социологии и психологии того времени поисков решения одной методологической и теоретической задачи: обнаружения социально-психологической связи между социальной системой и типом личности (базовой личности, национального характера, среднего или массового человека и проч.), институциональной селекции адекватных для тех или иных институтов антропологических типов. Оно позволяло объяснять массовую популярность фашизма (или нацизма, позже они стали разводиться) у определенных групп населения Германии, аттрактивности риторики Гитлера, расовой идеологии и пропаганды, отвечающих определенным комплексам ущемленности, рессантименту и фрустрациям, снимаемых отождествлением себя и фюрера, агрессивного националистического движения или партии.

Центральную роль в этом тематическом контексте играет «вождь», на которого проецируется компенсаторные значения генерализованного «отца» как носителя доминантного авторитета, контролирующего «супер-эго». Такой ход оказывается остроумным, понятным и результативным в условиях поднимающегося фашизма или нацизма в Германии. Рамки этого подхода определяет интерес к фашизоидному типу личности — фрустрированному человеку, тревожному, социально незащищенному, а потому готовому как к подчинению, так и к применению насилия, легко внушаемому, до-

вольствующемуся готовыми и доведенными до примитива стереотипными черно-белыми представлениями о реальности, склонному к расистской или классовой идеологии, в центре которой лежит образ «врага», с которым надо бороться и который должен быть уничтожен, ликвидирован, устранен для всеобщего спасения и процветания целого и проч. Соответственно тематика исследований этого рода охватывала задачи изучения массовой социализации и травматического опыта подавляемых или депремированных групп населения, ксенофобии, роль трансферта иллюзий и ответственности на вождя, имморализм новых движений, специфику социальных организаций, отбирающих и вбирающих в себя людей этого типа, их коллективную идентичность, ограниченность культурных ресурсов, милитаризм, проективную идеологию молодости, силы, маскулинности и т.п.[1]

Такой тип личности, массового человека, «частицы толпы» неявно противопоставлялся романтическому образу свободной личности, художника или независимого интеллектуала, ницшеанского нонконформиста, бунтаря или элиты, задающей образцы поведения и мышления для пассивных в творческом плане групп населения, обладающей авторитетом в силу своих достижений или способностей влияния на массы[2]. Поэтому первоначально поиски причин успеха фашизма шли в направлении психологических особенностей личности, утратившей связи с традиционными образованиями (семьей, деревенской общиной, религиозными, региональными или этнонациональными структурами) в ходе интенсивных процессов индустриализации, урбанизации и катастрофических последствий Первой мировой войны. Для исследователей этого направления были неинтересны другие типы личности, характерные для эпохи модерности, процессов модернизации, а именно инженера-менеджера, предпринимателя-трудоголика, ответственного политика консервативного, либерального или социально-христианского толка, судьи, убежденного в объективности всеобщего права, теолога, озабоченного современными социальными вопросами, движимого чувствами сострадания к рабочему классу и жаждой справедливости, и т.п. Только авторитарная личность в образе фюрера-некрофила или промышленного рабочего, школьного учителя и т.п.

Позже психологические характеристики господства стали переноситься на систему власти и организации общества, что лишило само понятие какой-либо терминологической определенности. Гораздо чаще в социальных науках здесь оперируют более размытым понятием авторитаризма, рассматриваемым на фоне латентной парадигмы модернизации (или вестернизации). В логике этого общего подхода авторитарные режимы чаще всего интерпретируются как закономерные последствия укрепления централизованного бюрократического аппарата государства. Они появляются в результате краха традиционных социальных структур (после антиколониальных движений или длительного периода внутренней конфронтации с участием вооруженных формирований), массовизации традиционного социума и включения их в мировой рынок, оказывавшего глобализационное воздействие на население, сопротивляющееся изменениям. Считалось, что режимы (системы господства и управления), называемые авторитарными, как правило, возникали в ходе рутинизации военных переворотов, следующих после глубокого социально-экономического кризиса, падения легитимности предшествующих структур господства, или антиколониальных движений. В ряде случаев они опирались на определенные этнические или родоплеменные структуры, конфессиональные или социальные группы, принимающие вид «партии» (например, на молодых офицеров или командование антиколониального «революционного» движения), легитимирующих себя в роли модернизационной элиты. В большинстве случаев их экономические ресурсы и материальная база существования режима были ограниченны: как правило, это был экспорт сырьевых ресурсов или монокультурной сельскохозяйственной продукции, создающих своего рода ренту для обеспечения правящих кланов или групп. Относительная длительность существования авторитарных систем данного типа вынуждала отличать их от нестабильных «несостоявшихся государств» (failed state), распадавшихся на отдельные территории, находящихся под контролем враждующих между собой кланов и вооруженных группировок (Сомали, Судан, ДРК).

С утратой понятийной (проблемной) ориентированности слова «авторитарный», «авторитаризм» оказались удобными для публицистов конвенциональными средствами маркировки

---

[1] См., например, характерную для этого подхода работу Х. Айзенка «Психология политики» (1954), впервые изданную на русском языке в 2016 г. фондом «Либеральная миссия».

[2] Ср. с этим творчество российских писателей-циников — Н. Коновалова, В. Сорокина, Э. Багирова и др.

неопределенного множества недемократических режимов. Характеристика «авторитарный режим» применительно к различным социально-политическим системам обозначает сегодня скорее специфический стиль господства и управления — правовой произвол или диктат персонального правителя (национального лидера, президента, вождя, диктатора), ограничение конституционных принципов, опору на военных или парамилитарные образования, традиционалистскую, фундаменталистскую конфессиональную или националистическую риторику и т.п.[1]

Устойчивая бедность антропологических типов, представляемых политологией (и отчасти социологией) того времени обусловлена отсутствием внимания к институциональным и организационным формам новых режимов (то есть тем, чем занялись исследователи, работающие в парадигме тоталитаризма). Для того, чтобы выделять специфику собственно авторитаризма, надо было бы провести методологический анализ разнообразных вариантов концепций тоталитаризма (институциональной структуры идеологических репрессивных режимов), появившихся к концу 1960-х гг. Эта работа нашла отражение в многочисленных сборниках докладов на конференциях, на которых разбирались концепции тоталитаризма.

В сжатом и систематическом виде итог этой работы представил Х. Линц, давший более сложную (уже не связанную с психологией) характеристику авторитарных режимов в их отличии от режимов тоталитарных[2]. В его трактовке авторитарные режимы — это один из видов репрессивных институциональных систем господства[3]. «Два главных измерения в нашем определении авторитарных режимов — степень или вид ограничения политического плюрализма, а также степень, в какой режим основывается на политической апатии и демобилизации, либо ограниченной и контролируемой мобилизации населения»[4]. За образец или модель авторитаризма он взял правление генерала Франко, установившееся после победы над республиканцами в гражданской войне. Авторитарные режимы опираются на традиционалистские институты и консервативные группы общества — аристократию, церковь, армию, используя репрессии в относительно ограниченном объеме только для нейтрализации оппозиции (подрывных элементов), контроля над СМИ и обеспечения пассивности масс. Этот тип режимов отличается от тоталитарных (как и от некоторых других диктаторских форм господства, например, неопатримониального султанизма) тем, что идеология здесь играет сравнительно незначительную роль, по своему характеру она ретроориентирована, эклектична и не претендует на обоснование тотальной трансформации общества. Допускается даже некоторый плюрализм взглядов, но лишь в вариациях националистической легитимации власти. Главные усилия режима этого типа направлены на поддержание состояния аполитичности населения, отчуждения общества от политики. Тем самым Х. Линц указывает на необходимость учитывать социально-исторические особенности институциональных составляющих режимов разного

[1] Полезный для русского читателя и информативный разбор авторитарных режимов с точки зрения конституционного права представлен в монографии Е. Лукьяновой и И. Шаблинского. (Авторитаризм и демократия. М.: Либеральная миссия, Мысль, 2018). Авторы так определяют центральное понятие своего анализа: «Под авторитарным политическим режимом мы понимаем режим, обеспечивающий неограниченную власть одного лица и его бюрократической группы над государственным аппаратом и СМИ, имитирующий иногда в целях легитимации демократические процедуры либо использующий в тех же целях лишь харизму правителя, подкрепленную силой репрессивного аппарата» (с. 18). «Под имитационным (гибридным) политическим режимом мы понимаем режим, который в процессе обеспечения неограниченной власти одного лица и его клана допускает деятельность некоторых независимых от власти институтов (СМИ, общественных объединений и т.п.), не имеющих, впрочем, реального влияния» (с. 23).

[2] *Linz J.J.* Totalitarianism and Authoritarian Regimes // Handbook of Political Sciences. Vol. 3. 1975. Ed. by F. Greenstein and W.N. Polsby. Addison; Wesbey. P. 175–411. Совсем недавно вышел перевод части этой работы в журнале издательства НЛО: *Линц Х.* Тоталитарные и авторитарные режимы. Введение // Неприкосновенный запас. 2018. № 4. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2018/4/totalitarnye-i-avtoritarnye-rezhimy.html. Цитаты даются по этой публикации.

[3] «Общества различаются не только тем, как в них устроена политическая жизнь, но и устройством властных отношений в иных сферах». *Линц Х.* Цит. соч. С. 17.

[4] Там же: «Можно выделить множество подтипов, различающихся тем, кто участвует в ограниченном плюрализме и как эти участники организованны, а также уровнем и типом их участия. Мы будем различать: бюрократическо-милитаристские авторитарные режимы, формы институционализации авторитарных режимов, которые мы называем "органическим этатизмом"; мобилизационные авторитарные режимы в постдемократических обществах, примером которых во многих отношениях является итальянский фашизм; мобилизационные авторитарные режимы в государствах, только что обретших независимость; наконец, посттоталитарные авторитарные режимы. Разумеется, эти идеальные (в веберовском смысле) типы не описывают в полной мере ни одного конкретного режима, поскольку в реальности политические режимы возникают усилиями лидеров и общественных сил, имеющих противоречивые представления о государственном устройстве, причем приоритеты и общие представления о цели у них постоянно меняются. Любой режим — результат явных и скрытых разнонаправленных тенденций, поэтому всегда представляет собой смешанную форму. Тем не менее близость к той или иной форме всегда имеется. В этом смысле в рамках нашей типологии трудно точно поместить даже какую-то одну страну в каждый конкретных момент».

типа, что сближает его методологию с социологией М. Вебера, из принципов которой он исходил[1]. Методологически важно подчеркнуть, что построенные им типы политических режимов не соответствуют в полной мере ни одной из реальных систем господства ни в какой исторический момент описания последних. Как говорил М. Вебер, мы можем фиксировать лишь некоторую степень приближения к мысленно сконструированной модели (в этом, безоценочном, смысле — к «идеальному типу»), то есть утверждать большее или меньшее соответствие эмпирически описываемого режима условной схеме. Другими словами, подход Х. Линца — это выработка концептуального языка для описания текущей действительности. Поэтому даже у него в силу необходимости возникают такие логические кентавры, как «посттоталитарные авторитарные режимы».

Итак, суммируем некоторые принципиальные характеристики авторитаризма. Режимы, относимые обычно к классу авторитарных, представляют собой различные по формам и структуре типы господства и массового управления, в которых функции власти сконцентрированы у одной персоны (каудильо, национального лидера, президента, генерала), независимо от способа, которым он пришел к власти, легально или узурпировав ее в результате насильственного захвата либо путем сочетания того и другого. Реже власть в таких режимах сконцентрирована у властвующей клики. У населения отсутствуют возможности и средства политического контроля над властью, другими словами, нет легальных средств ограничения насилия, используемого правящими группировками, кланами, элитами. Это значит, нет дееспособного и независимого от лидера и его окружения парламента, судебная система направлена на защиту интересов власти и не может рассматриваться как самостоятельный и авторитетный институт правоприменения и правосудия, нет свободной конкуренции политических партий, нет независимых СМИ, а значит, нет и свободно формируемого общественного мнения. Поэтому наиболее частый операциональный признак авторитаризма — отсутствие реальной парламентской оппозиции — является негативной, а не собственно содержательной характеристикой (определение идет от противного, от нормативного представления о демократии). При этом, конечно, номинально все признаки «демократии» (электоральной демократии, работающей как механизм периодической легитимации режима) могут иметь место.

От авторитаризма к тоталитаризму

Есть только одна возможность выйти из этих методологических антиномий — попробовать посмотреть на российское общество-государство в эволюции его институтов, включить сегодняшний день в исторический процесс изменения институтов и человека. Я не имею в виду возможный тезис подмены социологии альтернативной историей СССР (которой все равно нет по тем же причинам, почему нет и социологии). Речь о другом: единственной сколько-нибудь развернутой теоретической парадигмой советской системы и ее краха в настоящее время оказывается концепция тоталитаризма. Но этот подход встречает сильнейшее сопротивление с самых разных сторон.

Нежелание работать с теориями тоталитаризма вызвано закрепившимся оценочным отношением к этому понятию, его девальвацией в риторике новых левых в конце 1960-х и в 1970-е гг., идеологической критикой еврокоммунистов и советских борцов с западной наукой, протестовавших против отождествления нацизма и советской системы, считавших понятие тоталитаризма инструментом холодной войны. Дополнительным аргументом в неприятии этого подхода было негативное отношение историков, прежде всего немецких, к генерализованным понятийным конструкциям социологов, политологов и экономистов, которые, огрубляя историческое многообразие исторической реальности, отождествляли нацизм и сталинизм, нацизм и фашизм, режим Франко и репрессивные восточноевропейские режимы в Венгрии, балтийских государствах межвоенного времени[2]. Определенная правота за ними,

[1] В российских политологических работах, описывающих действующий режим, линцевская типология недемократических режимов, в том числе его конструкция авторитарного правления, практически не используется в качестве операционального инструмента анализа (возможно, в силу ясности своей системы референции и самоцензуры), хотя охотно цитируется в общих университетских курсах. Эпигонский характер российской политологии отразился в том, что такого рода инструменты (авторитаризм и ему подобные) некритически, то есть без специальной проработки, были использованы для анализа процессов постсоветской эволюции. Чужой проблемно-смысловой контекст был перенесен на постсоветскую тематику, что привело к множеству интеллектуальных тупиков и ложных ходов.

[2] Такого рода методологические недоразумения, обусловленные разной направленностью и задачами исследовательской работы в разных дисциплинарных областях, чрезвычайно характерны и труднопреодолимы, поскольку связаны с профессиональными установками,

безусловно, стояла, поскольку с легкой руки многих исследователей и философов «тоталитаризму» грозила участь стать безразмерным понятием. Например, К. Поппер употреблял его как синоним тотальной идеологической ментальности, которую обнаруживал уже в утопиях Платона, другие находили его в Месопотамии, в Средневековье и т.п., ряд экономистов применял его для характеристики советской системы планового государственного регулирования.

Но то были возражения академического порядка, реакция на выход теоретической дискуссии во вненаучные – околополитические, публицистические – сферы. Начиная с конца 1950-х понятие «тоталитаризм» получает широкое хождение в интеллигентской среде[1] (в особенности после выхода фундаментального труда Х. Арендт «Истоки тоталитаризма», 1951[2]). С тех пор большинство заинтересованной публики связывает понятие тоталитарных режимов с гитлеровским нацизмом (1933–1945 гг., до краха его в результате военного поражения) и сталинизмом (1928–1953 гг.). Хотя образованная публика в России мало и плохо знакома с аргументами и построениями Х. Арендт, в многократно опосредованном, стертом и банализированном виде ее идеи вошли в современный дискурс. Для неспециалиста семантика слов «тоталитаризм», «тоталитарный» неразрывно ассоциируется с двумя смысловыми компонентами: первый — *массовый террор*, приобретший систематический характер, второй — *тотальная идеология*, с успехом навязываемая обществу, превращенному таким образом в идейный, мировоззренческий коллективный монолит. Вопреки интенции авторов первых работ, делавших акцент на появление принципиально новых форм господства и организации общества, социализации, милитаризации общества, однопартийной диктатуре[3], послевоенная Европа последовала за немецкими учеными-эмигрантами в США или Великобританию (Э. Френкель, Р. Левенталь, франкфуртцы и др.) в их стараниях осмыслить причины варварства Второй мировой войны и беспрецедентного, идеологически обосновываемого уничтожения нацистами евреев, сопоставляя их с масштабными репрессиями в Советской России (прежде всего с Большим террором, московскими процессами, чистками, позднее обращаясь уже к опыту изучения коллективизации, практикам ГУЛАГа, характеру форсированной индустриализации, организации ЧК — НКВД — КГБ, искусственному голоду 1930-х и 1940-х)[4]. Тем самым социально-исторический контекст трактовок тоталитаризма заметно расширился — от чистого описания экстраординарных институциональных практик захвата власти к философскому, антропологическому, экзистенциалистскому осмыслению патологии модерности.

Все прочие варианты тоталитарных режимов (итальянский фашизм, Испания времен генерала Франко, салазаровская Португалия, коммунистический Китай, Куба при Кастро, Иран при аятоллах, Ирак при Хусейне, Камбоджа при Пол Поте, хошиминовский Вьетнам, СССР при Хрущеве и Брежневе, восточноевропейские страны соцлагеря, в котором коммунисты установили схожие с советским режимы, и множество других феноменов) остались

ценностными конвенциями группового самоопределения. Наиболее примечательными в этом плане оказались работы американских историков-«ревизионистов», продемонстрировавших гораздо большую сложность устройства повседневной жизни и репрессивных практик в странах классического тоталитаризма, отсутствие идеологического монолитного единства общества и государства и т.п. Все это очень важные и доказательные вещи для критики тоталитаризма, если только рассматривать тоталитаризм как эмпирическое описание конкретной системы господства.

[1] Само слово «тотальный» в научный оборот в специфическом политическом контексте было введено в 1923 г. Дж. Амендолой и П. Гобетти для характеристики фашистского движения в Италии и почти сразу же было подхвачено Б. Муссолини, придавшем ему позитивный идеологический смысл. Через несколько лет понятие «тоталитарный» и производные от него — «тоталитаризм» и др. – прочно вошли в состав научного словаря социальных наук. Анализ теорий, составляющих парадигму тоталитаризма, см.: *Випперман В.* Европейский фашизм в сравнении, 1922–1982. М.; Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. *Гудков Л.* «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М., 2001. № 5. С. 19–29; № 6. С. 20–29. Появление этой статьи было вызвано потребностью пересмотреть имеющиеся концептуальные средства для описания формирующегося режима Путина. См. также: *Gudkov L.* Russia — A Society in Transition? // Telos. 2001. Summer. No. 120. P. 9–30.

[2] Рукопись Х. Арендт была закончена в 1949 г., когда архивные материалы о советской системе были малодоступны, о чем она пишет в предисловии к своей работе. Х. Арендт относит к тоталитарным режимам только гитлеровский нацизм и сталинизм, не считает тоталитарными ни режим Франко, ни итальянский фашизм, ни другие диктаторские или деспотические системы. Немецкое, несколько расширенное издание, вышло в 1955 г. После второго американского издания (1958) книга была переведена на более чем 70 языков.

[3] Работы В. Гуриана, Л. Бассо, Л. Стурци, Ф. Боркенау, С. Ноймана, В. Райха, И. Силоне, А. Кестлера, Дж. Оруэлла, Л. Шапиро и других авторов — философов, политологов, психоаналитиков, писателей.

[4] Значительно позже, уже после появления «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына, поле тоталитаризма стало расширяться за счет работ о практиках коммунистов в других странах (в странах Восточной Европы, в Китае при Мао Цзэдуне, во Вьетнаме, в полпотовской Камбодже, в Латинской Америке, в Африке и др.). См.: *Куртуа С.*, *Верт Н.*, *Панне Ж-Л.*, *Пачковский А.*, *Бартосек К.*, *Марголин Дж-Л.* Чёрная книга коммунизма [95 миллионов жертв большевизма]. М.: «Три века истории», 2001.

в стороне и обычно не считаются достаточно «тоталитарными» или причисляются к ним с большими оговорками и исключениями. Большая часть из них сваливается в общую кучу репрессивных, недемократических авторитарных режимов, не подлежащих дальнейшему анализу. В советское время понятие «тоталитаризм» было табуированным (именно в силу ассоциаций советской системы с нацизмом), и такое отношение к нему в значительной степени сохраняется и в постсоветской России. Работ как обзорного, так и сравнительно-типологического рода крайне мало[1], тем более ставящего вопрос о рецидиве тоталитаризма при Путине. Поэтому в ходу различного рода понятийные суррогаты, в первую очередь «авторитаризм», «авторитарный режим» — слово-паразит, которым заменяют при всяком случае необходимость говорить о диктатуре.

Подход Х. Линца заключается в методологическом требовании выделять институциональные, ролевые и групповые основания, следовательно, особенности технологий господства для типологизации авторитарных режимов. Поэтому в отличие от психологических или психоаналитических трактовок проблемы господства и подчинения он обладает гораздо большим эвристическим потенциалом. Правильнее было бы сказать, что это самая сильная из теорий авторитаризма, поскольку проблематика господства здесь теряет почти все связи с идеями авторитарной личности. Однако для наших целей — анализа трансформации советской системы и превращения ее в путинизм (через переходное ельцинское правление) — мы все равно, даже следуя его рекомендациям (выделять из общего ряда авторитарных форм особый тип «посттоталитарного авторитаризма»), будем вынуждены исходить из ресурсов теории тоталитаризма, чтобы учитывать анамнез или истории этой институциональной системы[2]. Другими словами, парадигма тоталитаризма здесь принимает на себя роль концепции, направляющей внимание исследователя на специфические предметные области, позволяющие прослеживать генезис как институтов этого режима, так и их идеологическое обоснование. Тем самым открывается возможность не просто компенсировать слишком высокую степень генерализации общих понятий современной политологии, но и переводить универсальные конструкции с их неявной нормативной функцией (фиксации отклонений от эталона демократии или модерности) в идеальные типы, построенные с учетом мотивации акторов. Только это методологическое обстоятельство позволяет переходить к понятиям, сочетающим идеографические способы описания с интерпретацией низкой степени генерализации, сохраняя при этом заданную парадигмой теоретическую перспективу. Сегодня, кроме парадигмы тоталитаризма, для объяснения процессов на постсоветском пространстве нет какой-либо другой совокупности теорий, которые последовательно связывали бы между собой различные сферы социальной, культурной, правовой и экономической жизни. Они либо не разработаны до сих пор, либо представлены в слишком общей, а потому схоластической форме (вроде концепции институциональных матриц, цивилизационного подхода и т.п.). Не учитывая отечественного прошлого, российские социологи попадают в различного рода диалектические мнимости или понятийные ловушки, пытаясь диагностировать и описывать такие фантомные вещи, как российский средний класс, гражданское общество, оппозиция, партийный плюрализм и т.п.

Рассмотрим объяснительные возможности парадигмы тоталитаризма[3].

Основной массив исследований тоталитарных систем связан с предметным изучением институциональных характеристик двух режимов — германского нацизма (реже фашистского режима Муссолини) и СССР, их сопоставления, включая его вариации в странах Восточной Европы, навязанные Сталиным после ялтинского раздела сфер влияния. Большая часть работ этого направления посвящена периоду 1930–1950-х гг., времени полного развертывания режимов, послуживших «классическим примером» тоталитаризма, от которого

[1] Я не имею в виду одноименные разделы в учебных университетских курсах по истории политических учений. Из вышедших относительно недавно (но все же почти 15 лет назад!) серьезных работ российских авторов могу упомянуть только книгу: *Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г.* Феномен тоталитаризма. Политическая теория и исторические метаморфозы. М.: Наука, 2005 (тираж 480 экз.).

[2] Линц многократно предупреждает, что различия между «авторитаризмом» и «тоталитаризмом» условны и гораздо менее значимы, чем различия между демократическими и недемократическими режимами. *Линц Х.* Цит. соч. С. 5.

[3] Надо говорить именно о «парадигме», поскольку на протяжении XX в. сложилось множество различающихся теорий или версий тоталитаризма, объединяемых не столько общим словом «тотальный», сколько своеобразием репрессивных систем господства, возникших в это столетие. Изменения в системе политической власти (кадры, практики, законодательство, административное управление), обозначившиеся в последние годы правления Ельцина и в особенности с приходом к власти Путина, резко расходились с прежним курсом команды «демократов и реформаторов», что потребовало возвращения к теориям тоталитаризма и их пересмотра с учетом новых явлений.

отталкиваются любые трактовки современных репрессивных режимов, вне зависимости от того, принимают исследователи саму концепцию тоталитаризма или нет. Авторы подобных исследований, особенно раннего периода становления парадигмы, сосредоточиваются на обстоятельствах *формирования* фашистского государства в Италии, нацизма в Германии или советской системы в СССР. Преимущественно это историки, включающие в свой аппарат готовые политологические или социологические конструкции и понятия, позволяющие соединить или упорядочить полученный ими обширный эмпирический материал. Реже это делают политологи, пытающиеся в самом общем виде классифицировать репрессивные или диктаторские системы господства, как правило, описывая их ретроспективно, задним числом, а не в состоянии их актуального функционирования. Социологи не участвуют в этой работе.

Предметом описания было насильственное подавление многопартийности, парламентаризма, становление однопартийной системы, сращение партии с государственным аппаратом, уничтожение противников партии, а затем расширение масштабов террора посредством парамилитарных объединений и подчинения судебно-правовой системы правящей партии и фюреру, вождю.

Следующая (в логическом плане) фаза исследований была связана с изучением новых организационных структур (корпоративного государства, плановой государственной экономики, объединения всех общественных институтов в единое целое, ликвидация предшествующих форм объединений и ассоциаций), новые практики социализации, механизмы массовой мобилизации и др. Далее за ней последовала целая серия работ, касающаяся организации институтов террора (тайной политической полиции, концлагерей, чисток), с одной стороны, и анализа тотальной эсхатологической или миссионерской идеологии, ее функций, внутренней структуры, механизмов воздействия, институтов пропаганды и их внутренних изменений — с другой.

Очень важную роль для осознания данной проблематики в 1950–1960-е гг. сыграла книга «Истоки тоталитаризма» Х. Арендт. Она предложила развернутую концепцию возникновения и функционирования тоталитарных режимов. Арендт связала две линии рассмотрения: характер новых идеологий и практики тотального, обосновывающего себя террора. Опорные тезисы ее заключались в том, что тоталитарные *движения* (отметим значимость этого понятия для нее) возникают в ситуации резкого ослаблении значимости или распада традиционных структур организации социума. Процессы индустриализации и урбанизации, размывающие нормы аграрных сообществ, сопровождающиеся падением авторитета религиозных институтов, обычной морали, значительно усилились после краха империй, кризиса традиционного государства и упразднения сословных институциональных структур. Катализатором стали катастрофические социальные последствия мировой войны, экономический кризис, безработица, галопирующая инфляция и др. Появление больших человеческих масс, выбитых из привычной жизненной колеи, в особенности прошедших через войну, привычных к оружию и готовых к насилию как «нормальному» инструментальному способу поведения и решению проблем, утративших какие-либо сдерживающие агрессию представления, было абсолютно новым явлением в Европе. Эта раздраженная и возбужденная социальная плазма требовала от существующих институциональных авторитетов — властей, политиков, лидеров оппозиционных партий — объяснения, удовлетворения и компенсации за переживаемые лишения и страдания, но не находила их. Отсюда — ресентиментное признание полной их несостоятельности, убеждение в лживости и продажности прежней парламентской демократии, банкротство старого государства как такового и высокая привлекательность всякого рода демагогов, предлагавших простые и универсальные объяснения и средства спасения. Восстановление состояния коллективной интеграции могло быть достигнуто лишь посредством новых идеологических форм, способных отвечать запросам дезориентированных и фрустрированных изменениями людей, потерянных и лишенных привычных регуляторов и норм поведения.

Реакцией на эти изменения стали пандемические движения (пангерманизм, панславянизм и т.п.), давшие толчок идеологической универсализации прежних буржуазных «национализмов» и ксенофобий (в первую очередь антисемитизма), выстраивающихся по мысленным образцам всеохватывающих империй. Империя понимается здесь не просто как вид одного из больших европейских государственных образований, а идеальная форма всеобщей принудительной милитаристско-бюрократической организации коллективной жизни, механизм

интеграции населения для борьбы с внешним и внутренним врагом, колониальной экспансии. Травмированное и извращенное сознание сосредоточивалось на идее полного уничтожения своих врагов, антиподов движения, очистке общества от вредных элементов как условия формирования новой общности и достижения всеобщего счастья. Этими врагами (независимо от типа режима) могли быть чуждые расы или социальные классы, а также их пособники. Маниакальная сосредоточенность на врагах стала основным двигателем тотального террора, со временем приобретшим автономный и как бы иррациональный (для внешнего наблюдателя) характер.

Все тоталитарные идеологии включают три основных компонента: архаическое и идеализированное представление об исходной коллективной целостности, утраченной к настоящему времени (почва, народ, этноконфессиональная или социальная общность), образ врага, приобретающего характер метафизического зла, демонической силы, асоциального начала, подлежащего полному уничтожению и искоренению, и опрокинутая в будущее утопия возрожденной или заново выстроенной (архаической) коллективности — принципиально нового, небывалого в истории общества, точнее, желанного социального единства, идеального коллективного бесконфликтного состояния. Последнее должно быть достигнуто с помощью новых политических средств — полного господства Движения, возглавляемого партией, и стоящим над всеми вождем, идеологической социализации народа, обеспечиваемой функционированием партийных средств коммуникации (массовой пропаганды, школьным образованием, воспитанием в системе корпоративных организаций — спортивных, юношеских, женских, досуговых и проч.). «Тотальный террор, по Арендт, не был инструментом политического строя или орудием геноцида... Тотальный террор предназначался для избавления личности от психологического груза и для разрушения индивидуальной свободы и ответственности. Это была форма “радикального зла”, которое стремилось искоренить не евреев или кулаков, но сами условия... существования человека. <...> Как и отдельные индивиды, ее члены, масса в целом лишена конкретных интересов и определенных целей. <...> Масса не сплочена осознанием общего интереса и ей не хватает специфической классовой характеристики, которая выражается в установленных и достижимых целях. В отличие от других групп масса решительно аполитична, она не вдохновляется общими интересами, не заинтересована в каких-то целях»[1].

Поэтому не собственно содержание идеологии (оно меняется с течением времени, внутренне противоречиво и эклектично), а принудительность ее внедрения, обеспечиваемое и поддерживаемое строго иерархически организованной партийно-государственной бюрократией, придает тоталитарному обществу-государству вид некоей сплоченной и солидарной целостности. Пропаганда давала массам (отдельному существованию фрустрированного и изолированного индивида) возможность самоопределения и уважения, базирующуюся на значимости и важности той функции, которую составляющие массу индивиды выполняли во всем социальном целом, порождая мнимое чувство солидарности или иллюзию органического единства. Отдельные маргиналы, не способные или не желающие слиться с народом, подлежат изоляции в концлагерях тайной политической полиции, не нуждающейся в силу своей экстраправовой функции (и статуса чрезвычайной, секретной, особой службы или ведомства) в какой-либо сложной процедуре судебного разбирательства, или уничтожению.

Вместе с тем разделяемое большей частью социализированного таким образом населения представление об особой своей миссии (страны, народа) в мире, истории человечества придает социальным низам, массам чувство специфического величия и самоуважения, высокомерия по отношению к другим группам, этносам или странам, компенсируя им тем самым все трудности или дефициты повседневной жизни. Тотальная идеология, выводя смысл происходящего из естественных законов природы (борьбы рас за существование) или железных законов истории (классовой борьбы), объясняет сверхличную или объективную необходимость насилия и уничтожения социальных групп, народов, классов или слоев. Тем самым она не только придает смысл государственному насилию, нормализует его (но не само отдельное преступное действие — несанкционированное убийство отдельного еврея или буржуя подлежат уголовному наказания), однако только при условии всеобщности, а значит, безличности такого насилия. Тотальный террор делает каждого отдельного индивида соучастником, одновременно снимая с него ответственность за государственные преступления и уничтожая вместе с чувством вины (какого-либо этического или даже остаточного смутного

[1] *Корни Р.* Страх. История политической идеи. М.: Территория будущего, 2007. С. 122, 123 (ссылка).

психологического дискомфорта) само сознание происходящего у отдельного индивида, превращая его в бессмысленное и примитивное социальное существо, ограниченное только кругом своих непосредственных забот о существовании и отношениями с начальством. Тем самым разрушенными оказываются сами основы западной или даже христианской цивилизации, базирующейся на принципах индивидуализма и субъективности сознания.

Тоталитарная идеология, таким образом, в условиях закрытого и репрессивного социума создает, с точки зрения прежних либеральных или даже буржуазно-консервативных наблюдателей, совершенно особый целостный и непротиворечивый искусственный мир реальности происходящего и прошлого. Она позволяет объяснять любые события и явления на своем собственном языке и в параноидальной логике скрытых сил, конспирологии, исходя из посылки, что в основе поведения людей лежат мотивы всеобщей и не имеющей исключений борьбы за господство, ресурсы и выживание[1].

Х. Арендт прежде всего политический философ, а не политолог и не социолог (это обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания ее анализа и исследования тоталитаризма). В основе ее размышлений о трагедии современности лежит твердое убеждение в этическом характере политики, ее интенциональной ориентированности на общее благо, составляющей онтологическое основания европейской цивилизации[2]. В этом она продолжает традиционные тематические линии размышлений европейских мыслителей. Поэтому главный вопрос, занимающий ее, состоит в том, что такого случилось в современности, что возникает «радикальное человеческое Зло» (то есть то зло, к носителям которого, преступникам и участникам тотального террора, нельзя применять, по выражению К. Ясперса, критерии и нормы морального осуждения)? Почему в XX в. так легко и быстро оказались разрушенными моральные нормы и принципы гуманности Просвещения, на которых выстраивалась, выращивалась европейская культура и общество?

В поисках ответа она отходит от первоначальной тематики «Истоков тоталитаризма», погружаясь в поздних работах уже в чисто философский анализ этих проблем. В конечном счете ее диагноз заключается в том, что процессы массовизации[3] разрушили и лишили обывателя «способности к суждению» (в кантовском смысле). Речь в данном случае идет не только о способности к социальному воображения (а значит, и способности к эмпатии), но и связанной с этим этики, то есть ответственности перед другими людьми, идеи общего дела, блага, ограничения зла и вытекающих отсюда императивах коллективного поведения. В этом плане для нас (для дальнейшего анализа путинизма) гораздо большее значение, чем ее размышления над взаимосвязью идеологии и террора, имеет книга «Банальность зла. Процесс Эйхмана в Иерусалиме», которую она закончила в 1963 г. и тогда же опубликовала. Книга вызвала грандиозный скандал и полное неприятие еврейской общественности, подвергнувшей Арендт остракизму. Она совершенно иначе (и социологически!) повернула тему тоталитаризма. Главное здесь было в том, что, как полагала Арендт, преступления такого масштаба, как Холокост (или ГУЛАГ, сталинский террор и репрессии), недоступны пониманию и обычным человеческим оценкам. Это не про-

[1] К этому же пониманию тоталитаризма был близок и Дж. Оруэлл. Ср. отрывок из его «1984»: «Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. …Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял; еретическое высказывание, разумеется, было возможно — но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство… Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание только лишь в смутном, бессловесном виде и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси свалив в одну кучу и заклеймив совокупно». *Оруэлл Дж.* 1984 и эссе разных лет. М.: Прогресс, 1989, 2001. С. 200 и 207.

[2] Поэтому у нее политика ограничена определенными институциональными рамками и сферами (конкуренцией парламентских партий в соответствии с установленными четкими правовыми нормами, под защитой независимого суда и свободы прессы). В этом ее трактовка принципиально отличается от децизионистского понимания политики как борьбы за власть в любой форме и в любой сфере, характерное для всех недемократических репрессивных режимов. Это же представление полностью доминирует в России, разделяемое и властями, и их критиками.

[3] Проблемы, которые принесло появление нового, бесструктурного массового общества, в первую очередь явления тотальной мобилизации, довольно рано, еще до Второй мировой войны, были диагностированы европейскими философами и интеллектуалами. Об этом, каждый по-своему, писали Х. Ортега-и-Гассет, Э. Юнгер, К. Шмитт и др. Но оценивали они их очень по-разному. Если Ортега-и-Гассет утверждал, что «масса — это всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, “как и все”, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью» (*Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М.: AST Publishers, 2016. URL: https://www.litmir.me/br/?b=81182&p=1), то Шмитт на этом выстроил вполне тоталитарное учение о праве и об абсолютном суверенитете власти (государства), политики, конституированное от идеи «врага», которое во многом было реципиировано нацистами.

сто очень большое злодейство, совершенное извергами рода человеческого. С точки зрения их исполнителей (так заявляли после войны почти все привлекаемые к суду нацисты), массовые убийства вообще не являются индивидуальными преступлениями, это работа, чисто бюрократическое функционирование человеческой машины, со своими тяжелыми и неприятными сторонами, но это исполнение указаний и приказов вышестоящих инстанций[1]. Нахождение в тотальной бюрократической структуре, легитимированной исключительно идеологическими задачами, упраздняет у исполнителя индивидуальное моральное сознание, снимая с него личную ответственность за свои действия и представление о возможности собственного выбора.

С точки зрения Арендт, правящие элиты в тоталитарных режимах после революционного захвата власти радикально изменили социальную структуру социума, распределяя различные группы (расовые, классовые, партийные, возрастные, половые, ведомственные, региональные, трудовые) иерархическим образом, то есть устанавливая своего рода вертикаль общественного авторитета, значимости и престижа. При этом более высокая группа, располагаясь над другой или другими, получала больше возможностей распоряжаться ресурсами, наделяла себя более высоким статусом и более широкими властными полномочиями. Для нижележащих социальных групп это означало не просто ориентацию снизу вверх на высшие статусные группы, но и предопределяло признание их в качестве носителей более высоких достоинств, а значит, и соответствующих прав, добродетелей и образцов поведения, что снимало с подчиненных чувство ответственности за происходящее, уничтожая тем самым какие-либо представления о всеобщей значимости моральных норм. «Идеология была нравственным наркотиком, изменявшим чувство этической действительности своих поборников, так что они могли совершать ужасные вещи с минимальными угрызениями совести. Она замораживала или облегчала их нравственные чувства, ограждая их от реальности того, что они делали. В «Истоках» Арендт утверждала, что идеология создавала мнимую реальность для тех, кто больше не верит в этот мир и в свое собственное существование. В «Эйхмане» идеология была также фикцией, но фикцией политически инструментальной: она давала возможность личности победить ее «врожденное отвращение к совершению ужасных преступлений»[2].

Утрата этического начала в политике не только открывала дорогу для тотального — рационально организованного — насилия, но и условия его принятия, внутреннего оправдания атомизированным и дезориентированным индивидом. Идентификация с идеологическим движением, партией, захватившей всю властью в стране, освобождала его от состояния аномии и фрустрации. Присоединение большинства к ставшей тотальной и безальтернативной государственной версии реальности меняло в обществе характер и модальность социальной идентификации, порождая в маргиналах и отщепенцах чувство дискомфорта, одиночества и тревоги. Установленный порядок так или иначе принимался и становился внутренне легитимным, что предопределяло безальтернативность тоталитарной системы и ее устойчивость (для коммунистической системы на долгие десятилетия). Тем самым Арендт показывала, что возникающая на первый взгляд пассивность населения в тоталитарных обществах (отсут-

---

[1] Актуальность такой постановки вопроса крайне значима для российской публики, которая не дозрела до обсуждения подобных моральных проблем. Достаточно указать на функционирование нашей судебной системы, Басманного суда или прокуратуры, которая абсолютно бесстрастно, чисто формально подбирает юридические обоснования для осуждения тех, кого вышестоящие инстанции считают нежелательными элементами или у кого они намерены отнять собственность. В данном случае дело, конечно, не в масштабах преступлений (кто в данном случае может квалифицировать такое поведение «правоохранительных органов» и защитников закона, как преступление, или даже квалифицировать действия судьи Данилкина как отвратительное в моральном плане?), а в самом принципиальном характере функционирования акторов социального института, сохраняющего все особенности части тоталитарной системы.

[2] *Корни Р.* Страх. История политической идеи. М.: Территория будущего, 2007. С. 143–144. «Эйхман искренне верил в авторитет лучших людей общества, в то, что их мнения были достойны уважения и подражания. А еще у них была власть, так что все это заставило его присоединиться к верованиям, сопровождавшим эту власть. Эти парные элементы в идеологическом структурировании Эйхмана — искреннее и инструментальное, мораль и карьеризм — были нераздельны, поскольку в глазах Эйхмана успех был нравственным благом, стандартом, по которому оценивалось достоинство людей». Там же, с. 146-147. «Он и вправду к концу стал приверженцем успеха, по его представлениям, основного мерила "хорошего общества "». И потому для него типичными были последние слова о Гитлере: …Гитлер, сказал он, «мог быть не прав во всем, но одно несомненно: этот человек оказался способным подняться от ефрейтора немецкой армии до фюрера почти восьмидесятимиллионного народа… Сам по себе его успех уже доказал, что я должен подчиняться этому человеку». Его совесть действительно успокоилась, когда он увидел, с каким рвением и энтузиазмом «хорошее общество» реагирует на его действия. Ему «не надо было заглушать голос совести», как было сказано в заключении суда, и не потому, что совести у него не было, а потому что она говорила «респектабельным голосом», голосом окружающего его респектабельного общества». *Арендт Х.* Банальность зла. С. 188-189.

ствие какого-либо сопротивления насилию или преступлениям государства) — не политическая апатия, не равнодушие или безучастность, а старание следовать своим социальным, профессиональным, должностным, то есть функциональным обязанностям. Это лишь для стороннего наблюдателя, пытающегося как-то рационально объяснить поведение массы населения в условиях тотального террора, всеобщий конформизм или оппортунизм, общественная пассивность обусловлены страхом перед наказанием за несогласие. Более важная причина заключается в том, что такая апатия (аполитичность), функционально равнозначная поддержке преступлений режима, представляет собой рутинное, социально одобряемое поведение, гратификация которого задана соображениями карьеры, групповыми конвенциями коллег по работе, коррупцией, общими требованиями окружающей среды[1].

Военное поражение Гитлера и фашистской Италии, а также фашистских режимов в Венгрии и Румынии, а до того полуфашистских режимов в Прибалтике в результате советской оккупации этих стран перед Второй мировой войной создали ложное представление, что тоталитаризм был экстраординарное явлением в мировой истории, ограниченным лишь этими странами. Напротив, длительное существование, а значит, неизбежные изменения внутренней политики режимов Франко и Салазара заставили многих аналитиков вывести их из класса тоталитарных. Военный крах или военный переворот (как в Португалии) представляется большинству историков логическим концом существования подобных режимов. Это снимало вопрос о характере репродукции тоталитаризма. Поэтому никаких идей, чем (логически) заканчиваются тоталитарные системы, у них не возникало. А это ключевой вопрос для всего постсоветского развития, на который у современных социальных исследователей ответа нет. Есть некое априорное убеждение, что все репрессивные и демократические режимы в конечном счете должны преобразоваться в демократии, но подтверждения этому нет (вопреки тезису «конца истории»). Таким образом, представление о тоталитаризме как режиме «идеократии» закрывает возможности понимания того, где искать выход из тоталитаризма.

[1] Эта недооценка «позитивных» латентных значений тоталитаризма закрывает возможности для понимания сохранения рудиментов тоталитаризма (например, одобрения Путина при явно негативной оценки нынешнего государства в целом).

Совершенно иным (и во многом более продуктивным) представляется подход, предложенный в середине 1950-х гг. К.-Й. Фридрихом и З. Бжезинским. Их выступления отметили принципиально новую фазу в исследованиях репрессивных режимов тоталитарного плана. В отличие от спекулятивно-философского труда Х. Арендт, они строили свой подход на анализе и осмыслении уже проделанных работ, прежде всего описания различных институциональных практик тоталитарных режимов, организации власти (сращения партии и государства), идеологической индоктринации через пропаганду, СМИ, систему общественных организаций (от детских и юношеских, женских, спортивных, трудовых фронтов вплоть до ячеек на предприятиях или по месту жительства), функции террора, соотношений экономики и политики и т.п. Можно сказать, что они систематизировали и обобщили более ранние исследования различных сфер тоталитарных систем господства. По существу, они перешли от *задачи предметного описания* отдельных, исторически конкретных режимов (что было принято политическими историками в качестве само собой разумеющейся исследовательской программы, приведшей к множеству методологических противоречий и антиномий (несоответствию генерализованной теории эмпирическому материалу) к *идее метода исследования*: сравнительно-типологического институционального анализа различных тоталитарных режимов. Тем самым они предложили не схему описания конкретных видов репрессивных систем господства, а специализированный язык (аппарат генерализованного сопоставления) для междисциплинарного изучения различных идеологических и репрессивных режимов XX в., суммировав их основные характеристики в теоретической схеме «тоталитарного синдрома»[2].

Авторы выделили следующие составляющие «синдрома»:

1) однопартийная система, сращение партии и государственного аппарата, в результате которого меняется сам принцип комплектования управляющих кадров бюрократии (не по принципу компетентности квалификации, а по критериям идеологической выдержанности и партийной лояльности), тем самым обеспечи-

[2] *Fridrich C.J., Brzesinsky Z.* Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge (Mass.), 1956; 1965. Число признаков тоталитарного синдрома, первоначально ограниченное шестью, в дальнейшем постоянно увеличилось, авторы (главным образом К. Фридрих) добавляли все новые характеристики, пытаясь учесть и замечания критиков, и новый материал, полученный историками в ходе работы в архивах.

вается контроль над социальной структурой и мобильностью в обществе, управление социальными процессами; принципиально важным здесь оказывается трансформация права и судебной системы, отказывающейся от правового универсализма как достояния европейской культуры Просвещения; ликвидация любой общественной или политической деятельности, не согласованной с органами власти;

2) миссионерская, эсхатологическая идеология[1] будущего, излагающая программу построения небывалого в истории общества «нового типа», выступающая как основа для всеобщей идейной доктринации и дрессировки населения, в первую очередь молодежи, которая тем самым становится строительным материалом «светлого будущего» и наиболее преданным контингентом режима, поскольку именно для молодежи здесь открываются социальные лифты;

3) харизматический вождь, национальный и одновременно партийный лидер, обладающий всей полнотой власти и определяющий цели и средства политики, единолично задающий ориентиры и приоритеты национально-государственной деятельности, решающий все важнейшие вопросы, обладающий высшим авторитетом во всех ключевых вопросах существования страны, которые на данный момент признаются таковыми;

4) разветвленная тайная политическая полиция, обеспечивающая контроль фюрера, вождя, лидера над партией и населением в целом, устрашающая и дисциплинирующая население; ее воздействие предполагает у нее наличие чрезвычайных полномочий (то есть практики, выходящие за рамки «закона для всех») и самые жестокие средства принуждения или насилия, включая и безусловность уничтожения тех, кого режим признает «врагом» или «лишним» членом сообщества;

5) государственно-партийная монополия на все средства массовой информации, превращение печати, радио, ТВ и прочих информационных каналов в орудие идеологической пропаганды, агитации и мобилизации населения, его «воспитания» в духе «преданности партии-государства» и «патриотизма», манипуляция массовым сознанием, наказание за использование альтернативных источников информации и интерпретации, подавление альтернативных конструкций реальности, прошлого и будущего, другими словами — монополия на основные виды межличностной коммуникации в массовом индустриальном обществе;

6) массовый террор, широкомасштабные репрессии не только против отдельных групп населения, признанных «врагами народа» (по этническим, классовым, религиозным, культурным, политическим или иным социальным характеристикам), но и против всего населения в целом, служащий для обеспечения покорности и управления подданными в целях, поставленных вождем и партией;

7) плановая государственная экономика, обеспечивающая мобилизацию ресурсов и выбор средств для достижения поставленных режимов целей, подчинение хозяйственно-экономической деятельности политике (геополитики, экспансии, милитаризации, реализации идеологических программ и т.п.);

8) монополия на боевое оружие, использование парамилитарных формирований для захвата власти и уничтожения противников режима.

Таким образом, «тотальность» как определяющая черта тоталитарных режимов должна была бы усматриваться, если следовать мысли авторов, не только или не столько в репрессивных практиках или в терроре, приобретавшем у историков иррациональный характер, объясняемый поэтому персоналистически психологическими причинами, личностной патологией[2], сколько в *соподчинении и взаимосвязи деятельности всех социальных институтов*, от партии-государства до детских садов, от армии до культуры, а значит, распространении оправданного государственного принуждения на те области, которые до возникновения тоталитарных режимов не входили в компетенцию государства или входили в ограниченном объеме (по крайней мере, в европейских и более цивилизованных странах, таких как Германия или Италия; для России этот вопрос остается проблематичным): образование, религия, мораль, то есть воспитание детей и внутрисемейные отношения, гражданское общество, партийная организация, профсоюзы, публичная деятельность, искусство, спорт, сфера частного права, экономика и организации предпринимателей, культура, наука, мода и т.п. Поэтому Дж. Джентиле в од-

[1] На деле идеология не только будущего, но и прошлого, точнее, создающая замкнутую в себе и все объясняющую собой диалектику причин и следствий.

[2] Такое понимание сохраняется даже у наших ведущих историков сталинизма, например, у О. Хлевнюка, внесшего значительный вклад в описание и документирование становления тоталитарного режима. См: *Хлевнюк О. В.* Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы М.: РОССПЭН, 1996; *Хлевнюк О.В.* Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010.

ной из своих статей утверждал, что фашизм — это не политический строй, а тотальный образ жизни.

Впечатление иррациональности таких систем создается из-за того, что при тоталитарных режимах радикально меняются масштабы использования средств бюрократического управления (инструментально-рациональной, технической организации управления массовым поведением). Провозглашаемые лозунги – быстрая, форсированная модернизация страны (построение Третьего рейха или социализма) для достижения благоденствия народа, его величия, славы и счастья вступают в противоречие с фактическими целями господства, возвращением к домодерному или даже архаическому типу отношений власти и подданных. Советское прикрепление населения к рабочим местам, внеэкономическое принуждение, коллективное заложничество, военная экспансия, колониальная манера администрирования, массовые репрессии, дискриминация и выселение целых социальных групп или классов, концлагеря, убийства как способ решения проблем — все это представляет собой гораздо более примитивные техники власти, чем было до появления тоталитарных структур. Административный произвол, иерархическая система привилегий и проч. — все это было и раньше, до «революции».

Новым оказываются масштабы государственного насилия, а значит, способ его организации — фабричный, промышленный, технологичный. Это означает, что произошло стирание границ, барьеров между разными институциональными сферами. «Рационалистическое», или «научное», обоснования решения социальных (человеческих, моральных) проблем прикладывается для обоснования решений и практик, отвечающих целям и идеологическим интересам диктатуры (или ее отдельных ведомств), свободных от традиционных этических, религиозных или правовых ограничений. Другими словами, для снятия комплексов, порожденных травмами догоняющей модернизации, используются средства, которые сами по себе усиливают эти травмы. Понимание иллюзорности и несбыточности достижения тех благ, которые развитые, «модерные» страны получили в ходе длительного процесса развития их институциональной системы, непрерывного ее усложнения, вызывает сильнейшее ресентиментное неприятие тех ценностей, которые инициировали саму модернизацию. Получается замкнутый круг — жесткость системы господства становится фактором возникающих проблем, связанных с ее неадекватностью человеческим отношениям, становящихся все более многообразными.

Но именно поэтому тоталитарные режимы, если брать длительные периоды времени наблюдения, таят внутри себя неизбежные противоречия и нестабильность, угрозу катастрофы (военного поражения или внутреннего переворота) и собственный крах. Их узким местом оказывается персональный характер власти (на всех уровнях, но прежде всего высшей), не сочетающийся с задачами форсированного (догоняющего) развития, что требует других размерностей времени, других форм социальной организации, наличия институциональных механизмов воспроизводства социальных отношений, а здесь этого нет. Харизматическому лидеру не может быть эквивалентов и замены, как определял этот тип господства Вебер, отсюда проблема рутинизации (институционализации харизмы, превращения ее в традицию или бюрократическую структуру). Периодически возникающие критические точки в эволюции тоталитаризма объясняются невозможностью выработки механизмов упорядоченной (правовой) смены, передачи власти[1].

По отношению же к СССР общая концепция тоталитаризма как террористического режима (тематика Большого террора, организация партии-государства, деятельность НКВД – КГБ) дополняется или конкретизируется тезисом о функциональной специфике этого режима — об идеологии форсированной милитаристской модернизации или закрытого репрессивного «военно-промышленного общества», людей, живущих сознанием конфронтации с остальным миром и постоянной угрозы нападения извне. Но из-за этого анализ своеобразия институциональной его структуры по-

[1] В истории тоталитарных режимов представлены разные варианты воспроизводства власти — верхушечный переворот (например, разгром троцкистской оппозиции Сталиным, уничтожение Берии его более слабыми конкурентами после смерти Сталина, разгром «антипартийной группы» Хрущевым и отстранение в дальнейшем самого Хрущева, смерть Брежнева и случайный перебор кандидатов в преемники и проч., что включает совершенно другие интересы поддерживающих систему господства групп — сохранение власти, иммунизация номенклатуры от террора и т.п., частичная деидеологизация режима, дискредитация и опорочивание предшественников) или, реже, по принципиальным особенностям природы самих тоталитарных режимов как парадоксальной реакции на кризис модернизации — партикуляристское архаическое по форме наследование родственниками вождя (как в Северной Корее, на Кубе, в Азербайджане) или внутриклановых или аппаратных интриг в узком кругу высшего руководства (как в Китае, Туркмении, Узбекистане).

степенно замещается проблематикой холодной войны и противостояния двух мировых систем. Такой сдвиг интерпретаций советского коммунизма может объяснять быструю утрату интереса историков к теории тоталитаризма сразу после распада СССР.

Вопрос о будущем тоталитарных режимов после краха СССР (объясняемого истощением внутренних ресурсов режима из-за гонки вооружения, разорившей страну и подорвавшей массовую поддержку власти, или несостоятельностью плановой социалистической экономики, ее неспособностью к технологическим инновациям и развитию) становится при этом как бы излишним и снимается с научной повестки дня. Задачи историка в проблемном поле изучения тоталитаризма кажутся на этом исчерпанными, и эстафета передается прикладной политологии, от которой ожидаются рецепты и разработки политических решений для интеграции посттоталитарных обществ в пространство современных демократий.

Казалось бы, потенциал теории тоталитаризма исчерпан. Итог подведен Х. Линцом: «Итак, я буду считать систему тоталитарной, если она удовлетворяет следующим условиям:

1. Наличествует единый, однако не монолитный центр власти, и любой плюрализм институций или групп, если он существует, получает свою легитимность именно из этого центра, им опосредуется и возникает в большинстве случаев в силу политической воли центра, а не является результатом развития общества в дототалитарный период.

2. Имеется единственная, автономная и более или менее проработанная в интеллектуальном плане идеология, с которой идентифицирует себя правящая верхушка или вождь, а также обслуживающая высшее руководство партия. Политика, которую проводит правительство, опирается на идеологию, любые проводимые меры оправдываются ссылкой на нее. Идеология имеет определенные границы, и преступить их значит вступить в сферу инакомыслия, которое не остается безнаказанным. Идеология не сводится к какой-то конкретной программе или определению общего политического курса, но претендует на окончательное осмысление общества, понимание его исторической цели и объяснение всех общественных явлений.

3. Звучат постоянные призывы к активной мобилизации и широкому участию граждан в реализации политических и коллективных общественных задач; это участие реализуется через единственную существующую партию и множество подчиненных ей групп, оно поощряется и награждается. Нежелательными считаются пассивное подчинение и апатия, отход на позиции маленького человека, «хата которого с краю», характерные для авторитарных режимов»[1].

Концептуальная работа в рамках этой парадигмы фактически остановилась при первых признаках ослабления СССР (после смерти Сталина и прекращения практики массового террора и ликвидации ГУЛАГа, попыток десталинизации при Хрущеве и экономических реформ Косыгина, появления правозащитного движения), после Пражской весны, подавления рабочих волнений в соцстранах и т.п. Понятие тоталитаризма превратилось в идеологическое клише[2]. Европейские и американские исследователи тоталитаризма фактически подвели черту под этим направлением, занявшись углубленным историческим анализом германского нацизма и итальянского фашизма и сталинизма[3].

Но, на мой взгляд, подобное сужение и предметных, и исторических рамок изучения существенно обедняет эвристический объяснительный потенциал концепции тоталитаризма как междисциплинарной методологии сравнительного анализа репрессивных систем, основанных на сращении господствующей партии и государственного аппарата или моделей

---

[1] *Линц Х.*Тоталитарные и авторитарные и режимы // Неприкосновенный запас. 2018. №4. С.20

[2] Как пишет Випперман, «идеологический момент был обусловлен как антифашизмом, так и антикоммунизмом. После 1945 г. "демократическое" понятие "тоталитаризм" получило статус государственно-идеологического принципа, поскольку борьба с тоталитаризмом была закреплена в Основном законе ФРГ». *Wipperman W.* Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. Darmstadt, Primus Verlag, 1997. S. 111. См. также: *Випперман В.* Европейский фашизм в сравнении, 1922–1982. Новосибирск, 2000 (немецкое издание 1983 г.). См. также: *Умланд А.* Теоретическая интерпретация фашизма в работах В. Виппермана // Социологический журнал. 2000. № 1–2. С. 205–210.

[3] *Griffin R.D.* The Nature of Fascism. London. Routledge 1993; International fascism: theories, causes, and new consensus. Ed. by R. Griffin. London, Arnold, 1995; *Siegel A.* Introduction. — In: The Totalitarian Paradigm After the End of Communism. Toward a Theoretical Reassessment. Ed. by A. Siegel. Amsterdam — Atlanta, GA: Rodopi, 1998. P. 24–35; Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison. Ed. by J. Kershaw and M. Lewin. Cambridge 1997; *Gregor A.J.* The Faces of Janus: Marxism and Fascism in the Twentieth Century. Yale Univ.Press. New Have, 2000; *Gregor A.J.* Interpretations of fascism. New Brunswick N.Y., Transaction books, 2007; *Hohendahl P. U.* Critical Theory and the Challenge of Totalitarianismus. P. 8–31 // Telos. 2006. Summer (тематические номера посвящены как раз проблематике перехода немецкого общество от тоталитаризма к демократии: Germany after the Totalitarianismus. P. 1. No. 135. P. II. 2006. No. 136).

«общества-государства». Из поля внимания при этом выпадают не только все «неевропейские» коммунистические или национал-социалистические режимы (Китай, Вьетнам, Северная Корея, Куба и др.), но и множество переходных или смешанных форм, включая и некоторые ближневосточные или африканские системы репрессивного правления с сильной партийно-государственной идеологией (Ирак, Иран и др.). Сосредоточение лишь на изучении различных аспектов становления и функционирования нацизма, фашизма и сталинизма оборачивается тем, что с повестки дня снимается вопрос о будущем тоталитарных режимов, уходит на задний план теоретическая проблема эволюции таких режимов. А это значит, что сами режимы мыслятся как «однородные целостности», своего рода идеологические монолиты, что справедливо подвергалось сомнению и критике историками-ревизионистами. Однако из этого делался неправильный вывод: вместо того, чтобы разбирать характер неоднородности и противоречий между разными подсистемами, делалось заключение о неверности самой концепции тоталитарных социумов. Тем самым закрывалась возможность видеть различия в траекториях развития разных институтов внутри этих режимов, что, по моему мнению, представляется даже более важным обстоятельством, чем необходимость расширения типологического диапазона исследуемых тоталитарных форм.

Участники теоретических дискуссии о тоталитаризме, происходивших в 1960–1970-е, не смогли дать ответа на самый важный концептуальный вопрос, имеющий также огромное практическое значение: **есть ли выход из тоталитарных режимов и какова могла бы быть логика подобной трансформации, если не считать воздействия внешних факторов, определяющих их крушение?** Как я полагаю, именно теоретическая слабость понятия «авторитарные режимы» и вытекающая отсюда логическая неопределенность ответов на поставленный вопрос о будущем советского тоталитаризма могут служить объяснением паралича социальных наук, занимающихся постсоветскими процессами.

Явные свидетельства неудачи демократизации государств, образовавшихся на руинах советской системы, подталкивают к мысли, что отказываться от концепции тоталитаризма преждевременно. Напротив, новые явления в этих регионах совершенно недвусмысленно требуют своего объяснения, которое должно начинаться не с чистого листа, а продолжать уже имеющиеся теоретические разработки, вытекать из них. Необходимо существенное дополнение и развитие теории тоталитаризма за счет включения в нее объяснения последующих процессов разложения и дегенерации тотальных репрессивных систем и, следуя из их логики, определения перспектив трансформации этих режимов.

Тоталитаризм как парадигма. Три фаза эволюции научной парадигмы

Как всякая научная парадигма, тоталитаризм обладает собственной логикой развития и эволюции. Складывание любой парадигмы в науке начинается с накопления «аномальных» фактов — отдельных наблюдений и констатаций «отклонений» от ожидаемых явлений различного рода (вероятных, «закономерных», «типичных» в соответствии с принятыми в сообществе теориями, концепциями, учениями, являющимися основой ценностного консенсуса сообществ)[1]. Когда масса подобных девиаций оказывается значительной, наступает понимание, что эти явления — не случайность, не ошибки описания или измерения, а устойчивые феномены, научное сообщество раскалывается, возникает группа маргиналов и возмутителей спокойствия, которые настойчиво пытаются собрать, систематизировать и обобщить не укладывающиеся в прежние концепции явления. Эту начальную стадию новой парадигмы можно назвать формированием *индукционистского* метода, когда доминирующей мотивацией (и научной идеологией) становится принцип «мы собираем и описываем факты; теории рождаются из обобщения; мы не привносим в материал свои теоретические установки и посылки, а они возникают из генерализации эмпирического материала».

Вторая фаза логико-методологического развития парадигмы отмечена серьезными дискуссиями о результативности и границах значимости появившихся обобщений: накопленный материал начинает сопротивляться и противоречить исходным допущениям и первичным генерализациям, которые сталкиваются между собой. Методологическая критика и самоанализ ученых вскрывают ценностную направленность отбора эмпирических обстоятельств в процессах сбора и описания матери-

[1] *Кун Т.* Структура научных революций. М.: Наука, 1975; *Гудков Л.* Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994 (ч. II. «От рациональности сущего к субъективной рациональности. С. 277–350).

ала[1]. В ходе подобных внутридисциплинарных дискуссий становятся ясными несколько важнейших моментов научной работы, в первую очередь зависимость *конституирования факта от латентных концептуальных и ценностных посылок ученого*. Методологическая критика должна выявить и показать обусловленность явления, признака, характеристики, которым придается статус «эмпирического материала» (то есть полученного в соответствии со строгими критериями достоверности, проверяемости — устойчивости результата при многократных пробах и замерах), предшествующими априорными теоретическими посылками, являющимися мотивационными критериями отбора и проверки материала. Только в рамках подобного соответствия устанавливается возможность и степень *интерпретируемости* данных, соответствия их принятым принципам объяснения. Выявление этой скрытой связи факта и определенной теории, оправдывающей значимость того или иного эмпирического обстоятельства, получает название логико-методологической процедуры *верификации эмпирических результатов*.

Эта фаза научной работы (экспликация неявной методической «тавтологии») достаточно короткая и неустойчивая, поскольку скоро дискуссия о значимости интерпретации подталкивает исследователей к необходимости сопоставления уже не отдельных эмпирических данных (фактов) с объясняющей их концепцией, а сопоставления имеющихся в распоряжении альтернативных теорий и концепций одних и тех же множеств или агрегатов собранных данных. Встает задача оценки объяснительной результативности теории, ее адекватности, определении границ исходных расходящихся, конкурирующих между собой концептуальных систем.

Следствием этой теоретико-методологической дискуссии внутри научного сообщества оказывается признание равнозначимой объяснительной силы разных концепций, то есть понимание зависимости факта от метода его описания (конструирования), эффект «дополнительности», требование одновременного учитывания исходной познавательной установки исследователя для оценки значимости эмпирического результата, ограниченности нашего объяснения. Иными словами, если претендующее на статус эмпирического интерпретационное высказывание или суждение не может быть опровергнуто или иначе интерпретируемо в другой системе категорий, оно расценивается как «метафизика» (или «идеология»), а значит, как не подлежащий *«фальсификации»* (так была названа эта методологическая процедура) внетеоретический компонент научного объяснения[2]. Эти элементы никоим образом нельзя считать *ненаучными резидуумами*, которые должны быть исключены и отвергнуты. Напротив, без них никакая продолжительная (институциональная) работа в науке невозможна и непродуктивна, поскольку эти компоненты являются проявлениями в научной сфере влияния внешних социальных сил — интересов общества в научном знании, проекцией культурных представлений, партийных или групповых интересов, самих смыслов человеческой деятельности и существования. Без них собственно научная работа превращается в игру в бисер, похожую на шахматы, музыку, математику или чистую гимнастику ума.

Как только появляются первые признаки такого состояния научной дискуссии, можно говорить о наступлении третьей фазы эволюции соответствующей научной парадигмы: фазы *«конвенционализма»*. На этой стадии ставшая чрезвычайно рафинированной, изощренной и рефлексивной внутридисциплинарная методологическая критика научилась отделять «метафизические» компоненты концепции от объясняющего тот или иной объем эмпирического материала содержания теории. Методологически это выражается в способности «взять в скобки» (как это принято у феноменологов, применить операцию «эпохэ»), отделить содержание описываемого явления от того, что определяет его существование, признание его фактичности (техники удостоверения его действительности). Это предполагает способность

[1] Направленность познания, обусловленную теоретическим интересом исследователя, его проблемной ситуацией, не следует путать и смешивать с практическими оценками исследователей: регулятивная роль ценностей исследователя («познавательный интерес») играет роль прожектора, направляющего внимание в условиях темноты на те или иные обстоятельства, подлежащие отбору и последующей интерпретации в категориях принятых или разрабатываемых теорий и концепций. Практическая оценка, напротив, никак не связана с процессами познания (отбора и объяснения), ее значимость определяется ситуацией практического действия (взаимодействия с другими).

[2] Причем это никак не связано с философскими позициями мыслителей. Так, критический рационалист К. Поппер полагает, что причины тоталитаризма следует искать в самих истоках европейского мышления, например, в платоновской идее социальной инженерии (*Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., Международный фонд «Культурная инициатива»; 2009). Со своей стороны, ведущие авторы франкфуртской школы М. Хоркхаймер и Т. Адорно (Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997) возводили причины тоталитаризма к просвещенческому техническому рационализму как основе тотального овладения миром.

отделять и нейтрализовать элементы *экзистенциальной предикации*, которые задают статус «истинности» конкретному утверждению, от объясняемого теорией фактического содержания. Благодаря этому становится возможными согласования между собой уже не отдельных эмпирических суждений, а согласований *теорий как гетерогенных* (то есть имеющих разные источники происхождения, разный генезис, разные ценностные мотивации знания) систем объяснения и интерпретации различных групп фактов, не могущих быть между собой соединенными и гармонизируемыми.

На этой стадии мы имеем дело уже не с конкретными теориями, концепциями или их категориями (школами, сторонниками того или иного подхода), а с выработкой *метода согласования* различных теорий или научных школ. Суть его сводится к тому, что ни одна из предлагаемых или выдвигаемых систем объяснения не может дать полностью исчерпывающего, закрытого объяснения сколько-нибудь значительной массе эмпирического материала; в социальных науках — примирить исторические (идеографические, каузальные) методы и подходы с генерализующими методами (номографическими, законосообразными, статистическими способами работы и функционалистскими объяснениями) и дисциплинами. Всякая подобная попытка дать целостную, монистическую и внутренне непротиворечивую картину описываемой реальности заканчивается диалектическими мнимостями, идеологическими построениями или чем-то вроде историософских спекуляций на научные темы. Здесь проступают пределы данной научной парадигмы, охватывающей ставшее необозримым множество рабочих гипотез, интерпретаций, теорий и концепций в какой-то одной предметной сфере исследований. На этой стадии можно говорить уже только о том, в какой степени (и в каком отношении, в перспективе какой проблематики) является адекватной та или иная теория или их группы для осмысления и интерпретации соответствующего набора фактических наблюдений, описаний и генерализаций. Другими словами, этот момент сигнализирует о том, что наступает фаза сравнительно-типологического анализа различных систем описаний, требующего в качестве обязательного условия указания на субъективный характер исследовательского отбора (принцип дополнительности, учет наблюдателя в измерении, идеологических и антропологических установок, мотивировок генезиса теории и т.п.).

Содержательным признаком наступления третьей фазы в эволюции парадигмы тоталитаризма можно было бы считать появление узкодисциплинарных (а не историософских, не спекулятивных) постановок вопросов о причинах (генезисе) появления или формирования конкретных тоталитарных систем. В этой ситуации уже недостаточно говорить о конкретных предпосылках успеха Гитлера и нацистской партии (веймарского синдрома, экономического коллапса Германии, политики Антанты, дискредитации республиканской демократии и т.п.), в нашем случае исторического описания условий «октябрьской катастрофы 1917 года». Здесь требуется переход к более общим теориям модернизационной неудачи России, сочетающим культурологические исследования внутренних противоречий между аграрным коммунизмом основной массы населения с ее традиционно-магическим православием и тончайшим слоем носителей европейской политической культуры, не справившихся в условиях затяжной войны и краха монархии с решением задач трансформации политической системы. Сворачивание на патологический путь тотальной большевистской индустриализации и полной ломки социальной и институциональной структуры стало условием и началом радикального упрощения социальной структуры, блокирования социальной дифференциации, подавлением функциональных связей и коммуникаций между разными группами и подсистемами, восстановлением жесткой вертикали господства. Собственно, это и есть процесс контрмодернизации, стерилизующий ресурсы внутреннего, имманентного развития общества и делающего его зависимым почти исключительно от внешних условий — импорта идей, технологий, оборудования, давления гонки вооружений.

Другим вариантом признаков третьей фазы парадигмы можно считать постановку вопросов о будущем тоталитарных систем, за которыми стоят вопросы о логике разложения (объяснения) режима (причин, факторов, условий, социальных силах, лидерах, об организациях, интересах и т.п.) или, что не менее важно, поиск объясняющих ответов на вопросы воспроизводства тоталитарных систем господства, источников консерватизма или реставрации, реверсного движения после кризиса. Именно эту сторону парадигмы тоталитаризма отмечал В. Заславский[1]. Достоинства этого подхода обу-

[1] *Заславский В.* Постсоветский этап изучения тоталитаризма: новые направления и методологические тенденции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 1 (57). С. 47.

словлены его системным характером, заставляющим аналитиков принимать в расчет взаимодействие различных институтов (права, СМИ, политических партий, гражданского общества, культуры) и сравнивать особенности их функционирования в разных странах. Как он пишет, «наиболее обещающим направлением исследований сегодня является не просто выделение и изучение наиболее значительных черт, характеристик и институтов тоталитарных режимов, а системное описание и интерпретация их как совокупности характеристик взаимосвязанных и взаимозависимых институтов, анализируемых с точки зрения *необходимости и достаточности для репродукции* тоталитарной системы»[1].

В этом плане аналитическая работа в рамках парадигмы тоталитаризма применительно к классическим ее примерам, Германии или Италии, прекратилась, поскольку вопрос о репродукции этих режимов теоретически был снят — они были разрушены в результате победы СССР и союзников. (Правда, тут же встал практический вопрос о денацификации и дефашизации этих стран, который в определенном плане заменил необходимость концептуального продумывания судьбы тоталитарных систем.) По отношению к СССР эти вопросы оказались табуированными и по существу не поднимаются до сих пор.

Если мы понимаем, как происходило формирование институциональной системы тоталитарного господства (захват власти, террор — первоначально против отдельных групп, партий, затем — классов и этнических групп и, наконец, против всего населения, ликвидация свободной прессы, замена ее пропагандой, расползание идеологического регулирования и доктринации на другие функциональные институты — управления, социализации, социального контроля, обмена и взаимодействия с внешней средой), то мы получаем возможность видеть те линии напряжения, по которым происходит развал этой системы. И действительно, крах советского тоталитаризма произошел в тот момент, когда террористические и силовые структуры — политическая полиция, армия, партийная организация, СМИ – оказались недееспособными с точки зрения господствующей элиты, не отказавшимися выполнять свои функции. Ни одна из этих структур в решающий момент не выступила на защиту коммунистической власти. Но именно с их регенерации (с чеченской войны, введения цензуры, отмены местного самоуправления, централизации власти, упразднения разделения ветвей власти через «управляемую демократию» и фальсификацию выборной системы, уничтожения системы партийного представительства, подавления гражданского общества, плутократического огосударствления экономики и т.п.) и началось реверсное движение — восстановление путинского модифицированного вторичного тоталитаризма.

Самой же важной задачей в социальных науках сегодня оказалась следующая: исходя из логики разложения тоталитарных режимов определить векторы институциональных изменений. Решение этой задачи позволяет ответить на волнующие всех вопросы: почему в одних случаях подобный переход происходит трудно, болезненно, но относительно успешно, тогда как в других начавшиеся процессы трансформации тоталитарных институтов обрываются и общества оказываются в череде затяжных кризисов, провоцирующих появление новых репрессивных режимов, природа и технологии господства которых плохо описаны, поняты и изучены.

Обсуждение причин краха социалистической системы, как правило, ограничивается историческим анализом политики Горбачева и его партнеров на Западе и Востоке, деятельности участников различных социальных движений и организаций сопротивления коммунистам; за этим следуют проекты и описания различных сценариев восточноевропейского транзита и обсуждение вопросов интеграции стран ЦВЕ с ЕС. Доминирование транзитологических подходов и соответствующих им моделей демократизации, как и механический перенос правовых и рыночных институтов, часто, по существу, лишь мешают пониманию тех процессов, которые происходят в настоящее время на пространстве бывшего СССР, по-

[1] Эта методологическая посылка — рассмотрение тоталитарных типов господства, исходя из перспективы или логики их воспроизводства, соответственно требование описывать их в языке развития (=структурно-функциональной дифференциации), сохранения или разложения прежней системы отношений господства, интеграции или социального контроля и т.п. — позволяет автору говорить о третьем этапе развития тоталитарных исследований, начавшемся в середине 1990-х и отличающемся от двух предыдущих: «а) характером организации научной работы и предоставлением публике ее результатов; б) введением некоторых новых методологических принципов; в) появлением новых тем и направлений исследования, которые по разным причинам не были раньше в центре исследовательского внимания» <…> «Анализ функционирования и дегенерации режимов советского типа становится принципиальным направлением современных тоталитарных исследований». *Заславский В.* Цит. соч. С. 49.

скольку исследование в таких случаях сводится лишь к фиксации отклонений от нормативной схемы. (Вероятно, уже через какое-то время станет ясным, что и для понимания будущих событий в Китае или Вьетнаме такие транзитологические подходы будут малопродуктивными или одномерными.)

События на постсоветском пространстве (или, шире, пространстве восточного блока, соцлагеря) дают примеры обоих вариантов как успешной вестернизации и строительства демократии, так и смещения тоталитарных систем в сторону авторитаризма или квазитоталитарных традиционалистских типов господства. В первом случае (балтийские страны, Польша, Чехия) трудности переходного периода терпят именно потому, что люди солидарны, объединены сознанием «общего блага» и оправданности своего терпения, видят перспективу. Условием этой солидарности и гражданского сознания является наличие остатков прежних структур гражданского общества, неформальных объединений и память о собственной государственности до установления коммунистической системы. Во втором случае (отсутствие памяти о собственной государственности, а значит, предшествующих общественных объединений, гражданском обществе) терпение носит характер безальтернативного, неоправданного и безнадежного выживания в условиях внешнего бессмысленного принуждения, которое поэтому асоциально и избавиться от которого можно, только если постараться обойти общий порядок, попытаться решать свои проблемы в частном порядке.

Чаще всего возвратные формы репрессивных и недемократических режимов возникают после некоторого периода начальной либерализации и демократической трансформации (так было в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении, за исключением постсоветских государств Средней Азии, в первую очередь Туркмении и Узбекистана), так обстоят дела и в России. Схожим образом развивались события и на Украине после победы антилиберальных сил на президентских выборах в 2010 г.

То, что российские сценарии консервативного номенклатурного реванша повторяются на постсоветском пространстве, говорит о том, что это не случайности, а проявление определенных закономерностей эволюции распада и регенерации тоталитарного социума, указывающие на аморфность общества, слабость его организации или ограниченность его дееспособности при более высоком организационном потенциале институтов насилия, быстро восстанавливающихся после первого поражения и краха базовых структур принуждения[1].

Следовательно, нужны интеллектуальные ходы, позволяющие прослеживать не только взаимосвязь тоталитарных институтов, но и последствия такой системы организации. Теоретическая значимость такого семантического комплекса, как «тоталитарный синдром», сохраняет при этом свою силу, позволяя, например, фиксировать последовательную связь между сворачиванием массового террора и явлениями социальной склеротизации, приостановку циркуляции элит и прекращение

[1] После развала СССР во всех странах бывшего соцлагеря в первый период постсоветского существования наблюдалось резкое сокращение военных расходов, развал армии и военно-промышленного комплекса, ослабление милитаристской и экспансионистской риторики. Тем не менее склонность к применению вооруженных сил для решения политических задач сохранилась во всех бывших регионах СССР, кроме прибалтийских республик, более модернизированных и цивилизованных. В России готовность к насилию стала очевидной уже летом и осенью 1993 г. Использование армии для решения чисто политических конфликтов и столкновения групп интересов (для подавления силовым образом выступлений номенклатурной реакции в 1991-м, 1993-м, сепаратистов в 1994–2009 гг., блокирования вступления Грузии в НАТО в 2008-м, Украины — в ЕС в 2014-м и т.п.) означало первоначально несознаваемый, а потом все более открыто заявляемый отказ от возможности или перспективы развития современных институтов власти (формирования системы сдержек и противовесов, компромиссов, правовой регуляции, а значит, последовательного ограничения произвола и всевластия «исполнительной ветви» государственного аппарата). Было бы крайне близоруким полагать, что последствия концентрации власти у администрации президента и подчиненного ей правительства свелись к двум никому, кроме военных, не нужным многолетним войнам на Кавказе. Напротив, фактическое поражение российского руководства в чеченской войне и явная слабость громадной, но деморализованной армии в короткой войне с Грузией резко усилили влияние самых консервативных институтов — генералитета и политической полиции, подчинивших себе аппарат, отвечавший за стратегию государственной политики. Это привело к приоритетному росту расходов на армию и ее перевооружение (без изменения в сравнении с советскими временами концепции военно-стратегического противостояния с демократическими странами), увеличению затрат на органы безопасности, к централизации управления и доминированию геополитической ментальности в руководстве страны. В 2010-е имело место резкое усиление военных расходов, реанимация геополитического мышления и пропаганды в качестве базы для легитимации режима и усиления внутреннего контроля над обществом. Рецидив тоталитаризма подготовлен и новой программой военных расходов (как и неудачей военной реформы). У других бывших республик СССР — Грузии, Молдавии, а также Армении и Азербайджана, пребывающих в состоянии перманентного вооруженного противостояния — вооруженные столкновения были обусловлены нерешенностью вопросов национально-территориального деления. Во всех случаях они привели к истощению этих стран и частичным потерям территории. В Узбекистане, Таджикистане реставрация тоталитаризма (или, может быть, правильнее сказать, реконфигурация среднеазиатской советской системы господства) была стимулирована войной с исламской оппозицией и ее разгромом.

вертикальной мобильности, постепенное замещение миссионерской и экспансионистской идеологии идеологией консерватизма (в качестве которой могут выступать антонимы экспансионизма – мирного сосуществования двух систем, международной разрядки, «хельсинкского процесса», русского национализма[1]). Эта симптоматика латентной децентрализации имперской системы господства сопровождалась ростом претензий региональных и этнических элит, определившим последующий распад советской империи и другие явления[2]. Вне контекста концепции тоталитаризма данные явления выступают как разрозненные и не связанные друг с другом события и тенденции. И это касается прежде всего определения «движущих сил демократизации», то есть тех групп, которые были заинтересованы и добивались радикальных изменений, обращаясь за поддержкой к более широким слоям населения и добиваясь институционализации и закрепления этих изменений.

В нашем случае инициатором перестроечных реформ и социальной средой их заинтересованной поддержки и проведения была *советская интеллигенция* — бюрократия среднего звена (техническая, гуманитарная, обслуживающая номенклатуру и управленческий аппарат). Ее интересами, возможностями, компетентностью, способностью воображения и практического действия и определялись ход и границы допустимой институциональной трансформации. Эта среда в ходе реформ резко поляризовалась — часть явно выиграла, получив возможности свободной работы, выезда, снятия идеологической цензуры, взаимодействия с зарубежными партнерами, приобретения собственности или занятия предпринимательством, другая (низовая) явно проиграла, утратив прежний статус, доходы и уважение в обществе. Но основная масса населения была в лучшем случае безучастна по отношению к идущим изменениям, в худшем (а таких было большинство) настроена негативно. На вопрос: «Вы согласны с тем, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до начала перестройки (до 1985 г.)?» – в среднем на протяжении 25 лет (1991–2015 гг.) 45% опрошенных россиян говорили «да, согласны», 39% — «не согласны», 16% затруднялись с ответом. Во время острых кризисов (1995–1999, 2003 гг.) доля согласных поднималась до 51–58%, в благополучные годы снижаясь до 31–36%.

Подведем некоторые итоги анализу парадигмы тоталитаризма

О наступлении третьей фазы эволюции научной парадигмы позволяют говорить начинающиеся изменения, непредусмотренные исходными теоретическими посылками. В рассмотрение начинают включаться явления, которые расходятся с основным корпусом объясняющих концепций и теорий[3]. Они еще не получили статус эмпирических, то есть установленных, фактов, поскольку не соответствуют научным предположениям и прогнозам, вытекающим из предшествующих парадигматических построений, но уже само их накопление становится симптомом теоретического неблагополучия и вызовом для исследователей. Применительно к нашей теме: сюда должны относиться все те эмпирические наблюдения, которые выбиваются из логики теорий краха тоталитарной системы — ожиданий «третьей волны демократизации»[4], предписываемых научным сообществом. К ним я бы отнес все отклонения, не соответствующие концепции краха тоталитарных режимов в ходе демократического транзита. В первую очередь ей противоречит признание превращения слабой демократии, введенной указами сверху после неудачного путча ГКЧП, в авторитарную систему правле-

---

[1] Путинская риторика «стабильности», «порядка», позднее — суверенитета и национального возрождения, православного традиционализма, «особого пути» или «русской цивилизации», антизападничества на первый взгляд воспроизводит характеристики позднебрежневской идеологии консерватизма, фазу эрозии миссионерского, революционистского учения (получившего слабый импульс к обновлению при Хрущеве) и трансформацию его в имперский русский национализм. Однако ее функции совершенно иные: путинизм как идеология предназначен для легитимации вторичного тоталитаризма, оправдания политики реставрации системы тотального господства и дискредитации, критики идеи перехода России к демократии, идеологии реформ и устранения групп, заинтересованных в изменении системы.

[2] *Головачев Б.*, *Косова Л.*, *Хахулина Л.* Формирование правящей элиты в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1995. № 6. С. 18–24; 1996. № 1. С. 32–38; *Гудков Л.*, *Дубин Б.* Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс / Пути российского посткоммунизма. М.: Московский центр Карнеги. 2007. С. 8–63; *Гудков Л.* Перерождение коммунистической номенклатуры. — В кн.: Россия на рубеже веков, 1991–2011. М.: РОССПЭН, 2011. С. 116–133.

[3] «Концепция» отличается от «теории» лишь одним — теория «конституирует» эмпирические факты в форме строгих, методологически проработанных и подлежащих обязательной проверке понятий-терминов; для концепции, дающей толчок к построению индуктивистских теорий, это требование еще не обязательно или не всегда выдерживается.

[4] *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003.

ния (при Ельцине), а затем в восстанавливаемую при Путине тоталитарную систему[1].

Иначе говоря, третья фаза парадигмы тоталитаризма собирает все концепции и теоретические разработки, касающиеся любых вопросов воспроизводства репрессивных режимов, соответствующих схеме тоталитарного синдрома. Восстановление после сравнительно короткого периода перестройки и коллапса советской системы не означает воссоздание сталинского или брежневского тотального общества-государства. Речь о другом: об устойчивом воспроизводстве определенного набора взаимосвязанных социальных *институтов, блокирующих и подавляющих постоянно возникающие императивы структурной и функциональной дифференциации общества*. Эти институты, выступающие от имени государства, объявившего себя полным сувереном в стране, то есть узурпирующим правом решать, что есть закон и по отношению кому он может и должен применяться, а кто свободен от него, отказываются признавать — в моральном и правовом плане — автономность отдельных сегментов общества, групп и образований (и то, что называется гражданским обществом, и то, что образует совокупность других форм самоорганизации людей — научных, религиозных, художественных, сетевых). Тем самым разрываются сложные взаимосвязи и коммуникации между социальными группами и образованиями. Социальная жизнь в результате резко примитивизируется и лишается внутренне мотивируемой динамики развития, обусловленной вектором множества частных интересов. Ее заменяет политика властей, претендующих на рациональное централизованное управление социальными процессами и на оптимальное решение возникающих проблем населения и страны в целом. Подчеркну, что проблема не сводится к доминированию лишь репрессивных институтов (политической и уголовной полиции, армии, суда, прокуратуры и проч.), напротив, постановка вопроса о репродукции тоталитарной системы охватывает гораздо более широкий круг институтов и предметов регулирования и контроля, которые на первый взгляд никак не связаны с практиками насилия и принуждения, а именно: массовая школа, СМИ, культура, спорт, гражданские инициативы, церковь, семья, Интернет, досуг и др. Однако все они становятся объектом ведомственной регламентации и (номинального) контроля со стороны министерств образования, культуры, социальной политики, многочисленных комитетов и служб надзорного характера, не говоря уже о разработке депутатами парламента и региональных заксобраний репрессивного и регламентирующего рамки допустимого законодательства. Функционирование этих институтов идеологически определяется и направляется кремлевской администрацией, что придает этой политике видимость единства, последовательности и цельности (на деле превращается в хаос противоречащих друг другу отдельных актов и распоряжений, открывающий простор для коррупции и творческого произвола у нижестоящих исполнителей). Таким образом, наиболее консервативной силой (сдерживающей изменения) оказываются институты власти как институты насилия. Они не просто наиболее устойчивая часть тоталитарной системы, они сами по себе задают образцы воспроизводства для других подсистем. Они первыми возникли в ходе становления тоталитарных режимов и, судя по всему, будут последними компонентами, придающими системе целостность и воспроизводимость. Другие институциональные сегменты могут меняться и варьироваться в довольно широком диапазоне форм и отклонений, но слабость или недееспособность этих структур — институтов насилия — обрушивает всю систему господства, как это получилось в 1991 г.

Тотальность как специфическая характеристика путинского режима представлена в первую очередь *интенциями* властей предержащих, по своему происхождению, образу мышления и корпоративной этике являющимися выходцами из КГБ. Поэтому их политические пла-

[1] *Гудков Л., Дубин Б.* Российские выборы: время «серых» // ИБМ. 2000. № 2. С. 17–29. Позволю себе напомнить приводимый в одной нашей старой статьи (*Гудков Л., Дубин Б.* Конец 90-х: затухание образцов // ИБМ. 2001. № 1. С. 15–30) диагноз российской ситуации, данный К. Райс (тогда еще не ставшей госсекретарем США): «Если Е. Гайдар утверждает, что в стране "произошла полномасштабная социальная революция… Радикально изменилась система политических институтов и экономических отношений…", то Райс полагает, что 90-е годы оказались временем упущенных возможностей. Она пишет "…старая советская система развалилась, и некоторые основные факторы демократического развития уже сформировались… Но эти элементы не институционализированы… а баланс власти до такой степени смещен в сторону президента, что тот зачастую управляет страной посредством указов… Экономика страны не становится рыночной, а трансформируется в нечто иное. Широкое распространение бартера, квазибанки, миллиарды рублей, припрятанные за границей или в домашних кубышках, причудливые схемы приватизации, обогатившие так называемых реформаторов, — все это придает российской экономике прямо-таки средневековый оттенок"». Обстоятельства, сдерживающие развитие российского общества, не сводятся, по ее мнению, к экономике или политической системе, а к самому образу мышления. «Сдвиги же культурного характера, которые в конечном счете и создают условия для построения полноценного гражданского общества и рыночной экономики, могут растянуться на время целого поколения» (*Райс К.* Во имя национальных интересов // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 2. С. 115).

ны, намерения, интересы, образ реальности отражают ментальность конфронтации с Западом, с внутренними врагами, диссидентами, по отношению к которым допустимы любые средства и действия, включая демагогию, подлог, убийства, если они служат интересам «государственной безопасности». Дело, конечно, не в «безопасности», а в защите от критики и делегитимации тех, кто апроприировал, узурпировал власть. В этом плане паттерны советской системы принимаются не потому, что они лучше, эффективнее или идеологически оправдываемы, а потому, что Путин и его окружение ничего другого помыслить себе не могли. Подражательное использование прежних, обычных для советской системы, практик обусловлено тем, что пришедшие к власти силы не способны выдвинуть что-то свое и оригинальное, поэтому они вынуждены — в силу образования, образа мысли, компетенции, наконец, небольшого ума — обращаться к тому, что было в прошлом, к тому, что они знают благодаря общей средовой социализации того времени, обучению в советских школах и вузах или службе в соответствующих органах[1]. Другими словами, они обречены на воспроизводство или повторение прежних стандартов действия и мышления. Именно таким образом происходит реставрация и репродукция тоталитарной системы.

Крах централизованной распределительной экономики (Госплана) и единой партии еще не означает краха тоталитарной системы. Изменились масштабы управления экономикой, контроль стал более опосредованным, соответствующим интересам правящего режима (обогащение правящей элиты, в первую очередь путем перераспределения госдоходов, в том числе и через нелегальные каналы). Эти наследники Ельцина получили свою власть не демократическим путем, через свободные выборы, открытую конкуренцию партий и политических программ, а через кооптацию их в структуры господства, что позволило им затем последовательно трансформировать изнутри аппарат государственного управления. Никакого собственно политического процесса, идеологической конфронтации конкурентов, борьбы партий с разными программами за власть в самом конце 1990-х — начале 2000-х гг. уже не было. Пределы допустимого для разных участников были уже довольно жестко ограниченными. И коммунисты, и либералы, и сама новая власть при больном Ельцине в 1998–1999 гг. были вынуждены исходить из общих определений реальности: очень тяжелый кризис, скудный бюджет, обусловленный ценами на нефть, а не доходами предпринимателей, демобилизация населения, армии, чиновников и проч.[2] Рассмотрим эти изменения по порядку, исходя из составляющих «тоталитарного синдрома».

1. *Централизация системы господства — децентрализация структуры насилия*. Установление контроля путинского окружения над государством требовало других средств (но не прямого принуждения): использование административного ресурса, политтехнологических манипуляций, шантажа противников, контроля над информацией и т.п. А это значит, что «общество», как бы ни понимать это слово, уже не принимало участие в реконструкции политической системы 1990-х, не было способным выражать какие-либо собственные предпочтения и интересы, если не считать желания предсказуемости возвращения социального порядка, которые ассоциировались с выходом из экономического кризиса, психологически более тяжелого, чем кризис начала перестройки или начала 1990-х гг. Состояние населения к этому времени характеризуется не просто апатией, унынием и усталостью от конфронтации различных постноменклатурных фракций, скандалов, но и полной дезориентированностью, безнадежностью, разочарованием в результатах перестройки и реформ. Преобладают

[1] Учет характера социализации здесь особенно важен, поскольку время социального «импринтинга» для поколения Путина и его ближайшего чекистского окружения (рождения 1950–1953 гг.) – С. Иванова, В. Иванова, Н. Патрушева, В. Фрадкова, В. Черкесова, А. Бортникова и др. – приходится на брежневский переворот и отстранение Хрущева, разложение коммунистической идеологии, страх и усталость от сталинского террора, от обстановки хронической мобилизации. Это также начало реанимации фрондирующей (но очень тихо) интеллигенцией русского национализма и православия. Конец эсхатологической мобилизующей идеологии и желание нормализации повседневной жизни, всеобщее недовольство дефицитарным социализмом, застойным потребительским аскетизмом способствовали распространению, с одной стороны, идеологического релятивизма и цинизма, а с другой – оправданием чиновниками, принадлежащими к закрытой среде особой бюрократии, своих привилегий «этосом госслужбы», что возвышает их до «нового дворянства». См.: *Солдатов А., Бороган И.* Новое дворянство. URL: https://www.rulit.me/books/novoe-dvoryanstvo-ocherki-istorii-fsb-read-217403-1.html.

[2] «Убежденные или декларативные демократы считают себя обязанными поддерживать заведомо антидемократические действия властей (или, по меньшей мере, смиряться с ними, находя оправдание собственной слабости), а воинственно-патриотически воспитанные и ориентированные деятели вынуждены учитывать экономические и международные реалии, в какой-то мере использовать лексику и набор средств «демократического происхождения». В результате поверхность общественной жизни приобретает как бы закамуфлированный вид, и это непосредственно сказывается на распределении оценок общественного мнения». *Левада Ю.* Перспективы человека: предпосылки понимания. Ищем человека. М.: Новое издательство, 2006. С. 278.

негативные оценки изменений, переходящие в боязнь нового и сопротивление любым нововведениям[1]. Обычно такая психологическая атмосфера способствует росту ожиданий «спасителя», предшествующих «приходу» и «признанию» авторитарного правителя. Но Путин — не политический лидер, возглавлявший какое-то мощное социально-политическое или общественное движение, не харизматик, а исполнительный и совершенно бесцветный на тот момент в политическом плане мелкий аппаратный функционер, лишенный какой-либо идеологической окраски. Ореол политической харизмы ему был создан позднее, не ранее 2003 г., и не убедительностью собственной программы или красноречием популистского демагога, а средствами политической рекламы и пропаганды и только после того, как был установлен полный контроль администрацией над СМИ, исключающий появление любой нежелательной для режима информации. Именно с этого и начался процесс расширяющегося принуждения администрацией президента к покорности — с введения цензуры (после гибели «Курска» и запрета на освещение независимыми тележурналистами военных действий в Чечне), с разгрома НТВ и захвата ОРТ; затем последовал рейдерский захват ЮКОСа, далее (после Беслана) — реформа регионального управления, ликвидировавшая, по сути, федеральные основы государственной системы России, и т.п.

Вместе с тем принципиальным отличием нынешней фазы регенерации тоталитаризма от его ранних фаз оказывается отсутствие в России революционистских тоталитарных движений, объединенных и воодушевленных стремлением радикально изменить мир, построить принципиально новое общество-государство, свободное от пороков предыдущих систем правления. Ничего подобного мы не видели в начале 2000-х и не наблюдаем сегодня. Реверсный, или вторичный, тоталитаризм, насаждаемый сверху, решает эту проблему демонстрации своей массовой опоры путем имитации такого Движения. По инициативе АП или функционеров на местах в ходе разных экспериментов и бюрократических мероприятий создаются различные прокремлевские организации, «спонтанные выступления народа» в виде митингов и демонстраций «За Путина», «За Единую Русь» и т.п. Используется опыт взаимодействия на ранних стадиях изменений тайной политической полиции с криминальными сетями, их подчинения, заимствование у мафии ее средств и тактики — убийства, нападения, шантаж, махинации и вывод капиталов, образование фирм-прокладок и т.п. Допустимо как манипулирование этими образованиями, например, объединениями футбольных фанатов, молодежными группировками и т.п., так и, при необходимости или выходе их из-под контроля, ликвидация и уничтожение, как это было с организациями русских националистов, в особенности после Майдана.

В любом случае имеет место, с одной стороны, установление контроля над ними и их последующее инкорпорирование в структуры неявного контроля, с другой — создание множества псевдообщественных организаций, имитирующих волю народа или общества и его отдельных сегментов, — «Наши», «Местные», «Молодая гвардия», казачество, «Офицеры России», SERB, «Боевое братство», НОД, ОНФ, различные фонды и организации ветеранов спецслужб, афганцев, православных хоругвеносцев. Они образуют резервные парамилитарные организации, включая охранные агентства, из которых возникают вполне дееспособные частные военные компании (в принципе запрещенные законом), такие как «Вагнер» и др. С помощью таких группировок (Кущевка) или организаций, получивших иммунитет от уголовного преследования при нарушении законов, осуществляется рейдерский захват или передел собственности, террор, устрашение, фальсификации выборов, подавление протестов отдельных групп населения. Наконец, для аналогичных целей используются и частные, лишь с большим трудом и очень искусственно легализованные вооруженные формирования чеченцев — частная армия Кадырова, используемые для войны в Донбассе и убийств оппозиционеров и критиков Кремля.

2. *Роль силовых структур — политической полиции, армии, правоохранительных органов.* Предпосылки для регенерации тоталитарной системы начали складываться гораздо раньше прихода к власти Путина, а именно с использования Ельциным армии и спецслужб для подавления оппонентов — защитников Верховного Совета РСФСР, то есть бывших своих сторонников в борьбе с союзным руководством, с Горбачевым. Это обращение к на-

[1] «…Негативное восприятие перемен — долговременный общий фон восприятия населением прошедших изменений и перспектив дальнейшего развития. Этим определяется и политическая слабость активных сторонников “курса реформ…” Тем самым сохраняется устойчивая почва для дискредитации реформ и реформаторов, для попыток вернуть страну к ситуации “до 1985 года”, по крайней мере, символически». *Левада Ю.* Перспективы человека: предпосылки понимания. С. 272. Доля «сожалеющих» о распаде СССР составляет в среднем 61% (в опросах, проведенных на протяжении четверти века — с 1991 по 2018 г.). Максимум (72–72%) приходится на 1999–2001 гг.

силию как способу решения политических противоречий, к практикам господства, характерным для раннего советского времени, поначалу воспринималось как временные, вынужденные ситуативные отклонения от демократических принципов. Острая конфронтация и подавление вооруженного мятежа 1993 г. ослабили (наряду с падением популярности реформ у населения) правительство демократов и самого Ельцина, а опора на генералитет и собственную охрану[1], на институциональные остатки КГБ привели не только к первой чеченской войне, но и к усилению всего силового блока — генералитета, спецслужб, сделав президента зависимым от них. Поэтому решение Ельцина дистанцироваться от реформаторов было совершенно не случайным, не ошибкой или актом личного произвола правителя. Постепенное освобождение правительства от демократов было мотивировано в условиях падающей популярности президента (на тот момент персонализированного образа легитимной государственной власти) необходимостью самосохранения и потребностью в новых опорах режима. Об этом недвусмысленно свидетельствовали поиски других (не транзитных и не демократических) оснований для легитимизации режима — был дан заказ на «национальную идею», которую «демократические» эксперты при Аналитическом управлении президента нашли в обращении к русским традициям, в православии, апологии Белого движения и реставрации имперского стиля. Можно сказать, что это был переломный момент ельцинского авторитаризма — колониальная война в Чечне зашла в тупик, ресурсы демократизации исчерпаны (рейтинг Ельцина в конце 1995 г., то есть за полгода до президентских выборов, составлял всего 4–5%).

3. *Приватизация институтов насилия*. Главное в этом процессе регенерации тоталитарных институтов — системность изменений. Речь не идет о восстановлении один к одному прежней советской модели. В изменившихся условиях (как внешнеполитических, так внутрисистемных — распад СССР и образование независимых государств на постсоветском пространстве, развал планово-распределительной директивной экономики) общий объем власти существенно сократился, однако относительно возможностей правящей группировки в узком смысле (границ произвола) он, безусловно, вырос именно за счет неформальных (некодифицируемых) ресурсов действия, использования для личных целей и интересов институциональных средств и связей. Так, силовые органы, будучи в личном распоряжении главы государства и его сподвижников, контролируют собственность и экономические активы, определяют внешнеполитический курс и внутреннюю политику государства, терроризируют оппонентов и противников режима, следят за назначенными губернаторами, кадровыми назначениями во всех (по меньшей мере, ключевых) государственных ведомствах и организациях. Государственный аппарат используется для частных целей правящих кругов, включая и региональных губернаторов и администраторов[2]. (Это отчасти напоминает приватизацию государства отдельными кланами, но только отчасти, поскольку приближенные олигархии (руководители крупнейших как госкорпораций, так и условно частных компаний) — это что-то вроде особого хранения или счета в офшорах, общака, заначки или губки для верховного правителя: они неполные владельцы этих активов, но держатели и распорядители, в случае нужды он может выжать их, как показал план А. Белоусова. Псевдорыночная экономика включает огромный объем государственного сектора, непродуктивного с точки зрения свободной рыночной экономики, но удовлетворяющего представления, интересы и оценки правящего класса. План не ориентирован на население, его функция — обеспечение приоритетов режима (военные отрасли, помпезные и амбициозные проекты, предназначенные для глорификации власти — спорт, армия, церковное строительство).

4. Чрезвычайно важным элементом восстановления системы тоталитарного господства стало появление *параллельных репродуктивных*

[1] Здесь интересна роль А. Коржакова, личного охранника Ельцина из КГБ, как и значение охранников Путина, ставших кадровым ресурсом для назначений на ключевые позиции регионального и ведомственного управления.

[2] См. характерное рассуждение известной журналистки, опубликованное не в сетях, а в открытой печати: «Нынешнее государство не имеет на самом деле единого мозга, из которого оно управляется. Оно в какой-то степени не имеет мозга вообще. Ему, как динозавру, мозг заменяют инстинкты — хватательный, стрекательный и оборонительный. Кроме того, это государство принципиально сдается в аренду социально близким. Если вы меня спросите, кто такой член путинской элиты — это человек, который может взять в аренду кусочек государства. … Если ты убьешь, украдешь, опозоришься — с тебя никогда не спросят. Спросить могут, только если ты сделал что-то хорошее. <…> Бесспорно, творцом этой уникальной системы является лично Путин. Это его детище. Это его архитектура. Это новый феодализм, в котором приближенным и избранным делегируется право на насилие не потому, что государство не хочет творить насилие само, — оно хочет и может. Но потому, что оно не всегда хочет отвечать. Система выстроена так, чтобы не отвечать». *Латынина Ю.* Зомби-ленд Россия // «Новая газета». 2019. 24 янв. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/24/79293-zombi-lend-rossiya

структур в институтах власти и насилия. Крах советской системы обернулся ликвидацией одного из важнейших тоталитарных институтов советского времени — института номенклатуры, то есть селекции и подготовки кадров функционеров для расстановки их на ключевые позиции в социальной структуре, их перемещения (чтобы не допускать обрастания чиновника местными связями, препятствующими исполнению командных сигналов сверху) из одной сферы в другую. Этим занимался специальный Орготдел ЦК КПСС, курировавший деятельность руководящего состава во всех ведомствах и организациях, а также работу партийных школ, отбор нужных специалистов из всех сфер. То же производили и дублирующие его органы на нижестоящих уровнях власти. Благодаря такой системе (включая и первые отделы на всех важнейших предприятиях или отделы кадров во всех учреждениях страны) обеспечивался контроль над социальной мобильностью. Восстановить этот механизм в его прежнем виде, какие бы усилия для этого ни прикладывались, при Путине не удалось. Но наиболее значимые и влиятельные ведомства (ФСБ, МВД, ФСИН, Генпрокуратура и т.п.) начали воссоздавать собственные образовательные институты (так называемые академии, по образцу военных академий советского времени) и «номенклатуры», изолированные от нежелательного влияния гражданских университетов или вузов общего профиля. Социализация в этих учреждениях обеспечивала сохранение и передачу «этики» и духа советских закрытых учреждений (КГБ как костяка административной системы в первую очередь), что, собственно, и стало условием регенерации системы[1]. Профессор Е. Лукьянова объясняла крайне консервативный и склонный к репрессивности дух судейского и прокурорского корпуса тем, что кадровый подбор для соответствующих ведомств происходит главным образом за счет ресурсов самих этих ведомств, юристы с более широким профессиональным кругозором и компетентностью, получившие образование в «гражданских университетах» (например, МГУ), не имеют шансов на работу в этих органах — система их не принимает, ссылаясь на отсутствие необходимого практического опыта. Ее суждения подтверждают петербургские исследователи: судьи получают профессиональный опыт исключительно в самих судах, поднимаясь по административной лестнице от должности секретаря суда до судьи, одновременно получая образование заочно в ведомственных вузах (см. серию публикаций Extra jus в «Ведомостях» сотрудников Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге — В. Волкова, К. Титаева, И. Четвериковой, А. Дмитриевой и др.).

5. Падение популярности Ельцина как символа либерализации и лидера демократического транзита и прозападного курса объясняется не только тяжелым материальным положением основной массы населения, моральными просчетами при реализации политики приватизации, дискредитировавшей его команду реформаторов[2], но и неприятием его силовой политики в отношении политических противников, непрекращающейся грызней

[1] Академия ФСБ, как заявлено на ее сайте, ведет свою историю от созданных в апреле 1921 г. «постоянно действующих курсов по подготовке сотрудников для службы в органах ВЧК». С 1952 г. – это вуз (Высшая школа МГБ) с трехгодичным обучением. «В настоящее время Академия ФСБ России является крупным многопрофильным учебно-научным центром. На ее кафедрах работают 40 академиков и членов-корреспондентов, более 150 профессоров и докторов наук, свыше 500 доцентов и кандидатов наук. Этот мощный научно-педагогический состав готовит кадры не только для ФСБ России, но и для Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, некоторых других ведомств, а также осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для органов безопасности. Ученые Академии принимают активное участие в разработке комплексных целевых программ, научной экспертизе и подготовке законодательных и иных правовых актов федерального уровня. Академия быстро реагирует на изменения политической и оперативной обстановки в стране и мире, ведет значительную научно-исследовательскую работу в интересах образовательного процесса и практической деятельности органов безопасности, постоянно совершенствует учебно-методическую базу, разрабатывает новые формы и виды обучения, хранит и укрепляет лучшие традиции защитников Отечества». URL: http://www.academy.fsb.ru/index_history.html. То же самое можно сказать и о закрытой системе МВД — ведомственных университетах и Академии (URL: https://mvd.ru/upload/site120/folder_page/006/882/693/Istoriya_Akademii_upravleniya_MVD_Rossii_2018.pdf; https://xn--l1aeji.xn--b1aew.xn--p1ai/).

[2] «Призрак «экономического материализма», многократно опровергнутого историей XX в., сослужил скверную службу реформаторам, утешавшим себя и страну тем, что с изменением хозяйственных отношений все остальное само собой уладится и расцветет. Эта иллюзия привела, по меньшей мере, к двум тяжелым ошибкам: во-первых, это невнимание к нуждам простого, «массового» человека, лишившее реформаторов шансов на массовую поддержку, а во-вторых, это надежда на «реформаторский» потенциал недемократических властных структур и персонажей, приведшая к тому, что реформаторы трижды (при трех президентах) упустили возможность обрести собственное политическое лицо. Утраченные иллюзии перестроечных и последующих лет околореформенных конвульсий — это не просто массовое разочарование в демократических идеях и лозунгах, это показатель неудачи той элитарной квазихаризматической, а на деле — бюрократической структуры, которая исполняла роль движущей силы общественных перемен. Реформаторы имели высшие показатели общественного доверия в самый трудный переломный момент 1991–1992 гг., но даже не попытались превратить кредит доверия в систему гражданских организаций, нормально работающих институтов». *Ю. Левада*. Перспективы человека: предпосылки понимания. — В кн.: *Левада Ю.* Ищем человека. М.: Новое издательство, 2006. С. 279.

околовластных группировок и развязыванием войны в Чечне. Его ставка на спецслужбы и армию являлась вполне логичным решением для авторитарного правителя, но не демократа-реформатора. Никакого другого ресурса в условиях коллапса власти и паралича управляемости, кроме экстраординарных (внеправовых) ресурсов политической полиции и манипуляции общественным мнением, у ельцинского клана не было. Все прочие ведомства могли действовать только в рамках своей компетенции, КГБ — ФСБ имели доступ к неформальной информации и инструментам внеправового и внутриаппаратного воздействия. Начиная с 1995 г. целью ельцинского режима стало самосохранение его власти любыми средствами, что и привело через пару лет к полному вытеснению из аппарата власти сторонников реформ и правового государства. Политический аппарат сам по себе стремился восстановить в новых, послекризисных условиях прежние формы массового управления для обеспечения завоеванного положения и собственного благосостояния (приватизации госсобственности, приобретения новых активов, привилегий, средств власти и проч.). К концу 1990-х в госаппарате ключевые позиции уже занимали силовики, представители консервативного второго или даже третьего эшелона советской бюрократии. Процесс рутинизации краха советской системы завершился.

6. *Интересы политического класса. Неконституционные органы власти.* Главные интересы этого утвердившегося нового политического класса заключались в удержании власти, захвате собственности, ее перераспределении, защите и сохранении полученных ресурсов господства. Назначение Путина (технического премьера и удобного преемника), не имеющего, как казалось «семье» Ельцина, собственных амбиций, символизировало для госаппарата принципиальные изменения политической системы, тенденцию реставрации прежней системы в виде уже сурковской «управляемой демократии». По существу, это означало прекращение собственно «политики». Усталость и апатия населения облегчали процесс реверсного развития. Все усилия путинской команды направлены на последовательное выдавливание следов и остатков институциональных принципов «демократии» перестроечных лет и деятельности команды «реформаторов»: остается лишь то, что соответствует интересам плутократии. Так, под видом «реформы» судебной системы и обеспечения «независимости суда» была проведена полная реорганизация этого института. Из автономной и самостоятельной ветви власти (так она была продекларирована в Конституции 1993 г.) суд превратился в подчиненную администрации президента централизованную судебную бюрократию, продолжение полицейского государства[1]. И это был лишь первый шаг к выхолащиванию Конституции. Реальная власть отдавалась АП — неконституционному органу, установившему контроль над кадровыми назначениями в регионах, процедурой выборов, законодательной инициативой депутатов, как и самой процедурой селекции кандидатов в депутаты. Очень скоро были кастрированы и полностью подчинены не только суд, но и парламент (а значит, законодательная и контрольная деятельность оказались в полной зависимости от АП), то есть восстановлена, пусть и на другой основе функционирования, вся система централизованного вертикального управления государством и общественными процессами. Вместе с этим оказались подавленными идеи гражданского контроля полиции, разрабатываемые в различных вариантах планов децентрализации полиции, создания муниципальной полиции, выборности руководителей местной полиции. Будучи подчиненными АП, правоохранительные органы — суд, следственный комитет и прокуратура — утратили вместе с независимостью и разделением компетенций свои функции обеспечения правосудия и правопорядка, превратившись, несмотря на свои межведомственные войны, в основу репрессивного аппарата.

7. Реверсивная централизация власти была бы невозможной без ликвидации федеративной системы — регионального и местного самоуправления, принципиального изменения административной системы управления на местах. Наряду с отменой региональных партий были установлены не прописанные в Конституции президентские федеральные округа, упразднившие ограниченный суверенитет республик и тем самым резко понизившие полно-

[1] *Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н.* Российская судебная система в мнениях общества // Вестник общественного мнения. 2010. № 4 (106). С. 7–43; *Ворожейкина Т., Гудков Л., Зоркая Н., Овакимян А.* Мониторинг отношения российского населения к судебной реформе и судебной системе // Вестник общественного мнения. 2014. № 3–4 (118). С. 13–69; *Никитинский Л.В.* Ментовское государство как вид. Неправительственный доклад в ВШЭ, март — апрель 2009 г. (URL: https://web.archive.org/web/20090714123738/http://www.ruj.ru/authors/nikitinskiy/090319-1.htm). Об исследованиях «Левада-центра» отношения общества к полиции см.: *Гудков Л., Дубин Б., Леонова А.* Милицейское насилие и проблема «полицейского государства» // Вестник общественного мнения. 2004. № 4 (72). С. 31–47; *Гудков Л., Дубин Б.* Приватизация полиции // Вестник общественного мнения. 2006. № 1 (81). С. 58–71.

мочия глав регионов. Выборы губернаторов то отменялись, то возвращались, делая самих губернаторов фигурами, полностью оторванными от проблем населения и региональных элит. То же через некоторое время произошло с выборами мэров крупных, принципиально важных городов — мэры фактически были заменены «сити-менеджерами». После введения муниципальных фильтров и практики селективной регистрации партий и кандидатов выборы превратились в демократический фасад административного произвола. Централизация налогов стала механизмом бюджетного перераспределения средств при полном диктате центра, то есть удавкой для местных властей. Нарастающие дисфункции такой системы управления решаются Кремлем через выборочные репрессии против вызвавших неудовольствие начальства высокопоставленных чиновников и все ускоряющуюся бешеную циркуляцию губернаторов-наместников. За последние два года сменилось более половины губернаторов. Назначенные из Москвы уполномоченные, по существу, превратили регионы в сатрапии Кремля, интересы местной власти и бизнес-элит в провинции при этом полностью игнорируются, что усиливает напряжение и недовольство на местах.

8. *Партийная система.* Конец СССР и запрещение КПСС после путча 1991 г. привели к появлению нескольких десятков мелких политических партий, состоявших из фрагментов расколотой партийной, советской и хозяйственной номенклатуры. После острой конфронтации летом и осенью 1993-го пропрезидентских и оппонирующих им партий консервативных отраслевых и региональных лоббистов, представленных большинством в ВС РСФСР, подавления вооруженных выступлений сторонников А. Руцкого и Р. Хасбулатова и принятия новой Конституции, сформировались несколько относительно крупных партий, ставших электоральными машинами. Особенность такой неустойчивой партийной системы заключалась в двойных структурах: более крупные образования, получившие представительство в Госдуме (слабеющие партия реформ ДВР, от которой постепенно отошел президент, ее дублер «Яблоко», более умеренная НДР, ставшая партией власти, компартия и заживший собственной жизнью проект КГБ крайне правой популистской партии-спойлера В. Жириновского) и их дублеры-аутсайдеры. С приходом Путина к власти и установлением жесткого контроля над выборами многопартийная система была прорежена. Вместо тотальной и ставшей крайне ригидной командной партийно-советской системы уже в начале 2000-х создана более гибкая структура управляемых администрацией президента псевдопартий, предназначенных в первую очередь для стерилизации демократии — нейтрализации спонтанных и независимых от власти общественных движений, групп интересов или гражданских инициатив. Опасность, исходящая от лидеров конкурентных с путинской партий, была нейтрализована с помощью тихого шантажа, угрозы уголовного преследования, подкупа и втягивания их в общую с путинской организацией систему кремлевского патроната. Функции этих «системных» партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) заключаются в том, чтобы быть: а) единой электоральной машиной для легитимации режима при сохранении видимости политического плюрализма и имитации волеизъявления народа; б) каналом вертикальной мобильности для местных элит и подбора кадров для администрации разных уровней; в) средством лоббирования региональных или ведомственных интересов. Сами по себе эти партии лишены какого-либо политического значения, поскольку в действительности не предназначены для борьбы за власть и не собираются бороться за нее. Даже будучи в Думе, они не могут заниматься распределением бюджета или контролем деятельности правительства, их действия, программы и руководство согласованы с кремлевской администрацией, это суррогаты, имитаторы партийного плюрализма. Фактически ГД превратилась в собрание отраслевых и региональных лоббистов, послушно выполняющих решения администрации президента. Отмена региональных партий и выборности губернаторов, изменение состава Совета Федерации, комплектуемого теперь не из губернаторов, а из их представителей, назначенных по согласованию с Кремлем, означало конституционный переворот и установление мягкой диктатуры. С этого момента более 70% законопроектов вносятся по инициативе правительства, что означает окончательное завершение сформированной централизованной вертикали власти и чисто номинальный декоративный парламентаризм. Остатки номенклатурной многопартийности 1990-х (такие как «Яблоко», СПС, «Родина» и мелкие организации-спойлеры) постепенно были окончательно вытеснены со сцены. Шумиха, поднимаемая критиками власти вокруг выборов и фальсификации их результатов, не имеет собственно политического значения, поскольку такая суета никак не отра-

жается на конечном распределении влияния в структурах власти. Максимум, что можно ожидать, сводится к тому, что руководители регионов или федеральные чиновники, не обеспечивающие показательный процент лояльных голосов, могут быть отстранены от должностей. Однако эта инсценировка «свободных, честных и прозрачных выборов» играет крайне важную роль в поддержании апатии населения и отчуждения большей его части от политического участия. Создавая иллюзию, что, «несмотря на все, можно постараться что-то сделать, изменить что-то в жизни людей к лучшему», этот периодический церемониал участия граждан в общественной жизни занимает внимание социально ангажированных групп населения. В определенный период примерно половина населения так или иначе следит за электоральной интригой. Оставшиеся за бортом собственно партии (в понятиях демократической системы) — мелкие инициативные организации, выросшие снизу — лишены возможности участвовать в электоральной конкуренции из-за: а) наличия различных фильтров и барьеров, блокирующих их регистрацию для участия в выборах; б) лишения их финансовых средств и организационно-технических ресурсов для агитации и работы с избирателями, блокирования им доступа к СМИ. Любые подлинные политики (то есть публичные фигуры с характерными чертами харизматических лидеров, умеющих добиваться внимания публики и выражать интересы различных социальных групп населения, как, например, А. Навальный, Д. Гудков, Л. Шлосберг и им подобные) полностью нейтрализованы посредством мощной дискредитирующей пропаганды, некоторые из них — в силу полицейского и судебного произвола, другие — через СМИ, административные и социальные сети. Сегодня российская партийная система — это театральная машина для движения декораций на политической сцене, игра или ритуал демонстрации общественной лояльности и одобрения безальтернативной диктатуры[1].

9. Путинизм как социально-политическая система был бы невозможен без введения полной монополии контроля администрации над информационной сферой, в первую очередь над федеральными каналами ТВ и крупнотиражными изданиями. СМИ в целом после 2001–2003 гг. лишились прежней независимости и стали элементом общей машины очень эффективной пропаганды. Ее роль постоянно возрастала, причем вторая волна принципиальных изменений произошла после массовых антипутинских демонстраций 2010–2012 гг. В ответ на них последовало резкое ужесточение законодательства и репрессивной практики по отношению к организациям гражданского общества, неформальным объединениям, усиление цензуры и отношения к деятельности информационных компаний. Те СМИ, которые вызвали неудовольствие и раздражение Кремля своими публикациями, лишались эфирных частот, принуждались к смене владельцев или состава редакций, подвергались штрафам и угрозам. Особенно агрессивной и демагогической пропаганда стала после аннексии Крыма. Сегодня Кремль контролирует 90–95% информационного времени и пространства, на долю альтернативных (независимых СМИ не осталось) каналов информации сегодня приходится не более 7–8% общей аудитории. Новым явлением стал рост объема «бла-бла-бла»-ТВ — поток развлечений, попсы и фейк-новостей, нейтрализующих раздражение населения положением дел путем переключения внимание на светские склоки и сплетни, стерилизующих массовое сознание[2]. Интернет и сети не являются конкурентами или альтернативами официозному ТВ и печатным изданиям. Продуктивность такой машины манипулирования общественным мнением обеспечена сочетанием вытеснения или замалчивания негативной информации, изоляцией ненужных или нежелательных сообщений, с назойливой сентиментально-националистической рекламой деятельности администрации и восхвалением достижений правящего режима и непрерывного тенденциозного обличения Запада, его политики, культуры, морали, ценностей и т.п. Соединение точечных профилактических ре-

[1] См. закрытые документы ЕР, содержащие описание некоторых технологических способов работы в условиях «управляемой демократии». URL: http://infopressa.com/2018/09/07/v-vyborah-pobejdaet-tot-kto-kontroliryet-ih-hod-sekretnyi-izbiratelnyi-plan-shtaba-edinoi-rossii/; https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region/sekretnyj-plan-shtaba-edinoj-rossii/

[2] *Волков Д., Гончаров С.* Российский медиаландшафт-2017: основные тенденции использования СМИ. М.: «Левада-центр», 2017; *Kachkayeva A.* Glamour Totalitarism the Television Industry in the epoch of stability (2004–2007). — В кн.: World of media: Медиамир, 2009; *Gudkov L.* Traces of Defeat. Why the Propaganda Effect Will Be Felt for a Long Time Yet Journal // Russian Politics & Law (Russian Politics at the End of 2015: Continuing Deinstitutionalization). 2016. Vol. 54. Is. 4. P. 386–394. URL: http://dx.doi.org/10.1080/10611940.2016.1207466. Ср.: «В России все идет обыкновенным порядком: есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чем: поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся. … Народ, который поет и пляшет, зла не думает», — Екатерина Вторая в письме к Вольтеру (1770 г.).

прессий с господством в информационной сфере и пропагандистской демагогией дало совершенно новый эффект в манипулировании общественным мнением. То, что раньше в тоталитарных режимах достигалось всеобщим террором, капиллярной слежкой и доносами, пятиминутками «ненависти» (на непрерывных коллективных собраниях, митингах, политзанятиях и т.п.), устрашением и физическим уничтожением обывателей и функционеров системы, сегодня достигается гораздо более мягкими средствами предельно быстрого распространения сведений любого рода от угроз до дискредитации.

10. Новым явлением по сравнению с 1990-ми стало формирование **единой идеологии** — обязательного **государственного патриотизма**. Ее основные положения включают следующие тезисы органической солидарности и национального единства: 1) Россия — Великая держава, обладающая одним из двух самых больших в мире арсеналов ядерно-ракетного оружия, способного уничтожить любого врага; 2) Россия — страна с тысячелетней историей, особая цивилизация, сложившаяся на основе веры в государство как силы, создающей, конституирующей и защищающей русский народ. Русский народ — избранный, великий народ, которому предназначена особая судьба — страдать и побеждать. Поэтому он занимает особое место в мировой истории. Россия стала великой (в духовном и территориальном смыслах) в постоянной борьбе с противостоящими силами — монголами, Западом; 3) Россия — православная страна, где исторически состоялась симфония государства и церкви; именно благодаря православию она сохранила свою духовность, свои ценности, мораль и традиции. Поэтому нет и не может быть никаких противоречий между властью и народом; 4) как сказал Путин, мы — великая страна, нам нечего стыдиться своего прошлого (подразумевается прежде всего сталинский террор и гибель миллионов в ходе массовых репрессий, коллективизации, но также хроническая бедность и отсталость от развитых западных стран). У каждой страны есть свои темные страницы, но надо помнить о наших достижениях, гордиться нашими победами и вынести уроки из трагических событий российской Смуты; 5) мы сильны, пока мы едины. Страдания, жертвы, которые перенес наш народ ради сохранения государства, ради победы в Отечественной войне, не только укрепили наш дух и волю, они также дают нам моральное право диктовать свои условия другим странам, заставлять учитывать интересы Великой страны. Те, кто отстаивает свои особые интересы, кто не готов *самоотверженно* защищать Родину, — предатели, враги народа, пятая колонна, агенты иностранных держав[1].

Эти кажущиеся нехитрыми идеи вполне действенны благодаря институтам, которые: а) их тиражируют и тем самым производят и обеспечивают постоянную массовую индоктринацию населения (СМИ и все механизмы непрерывной пропаганды, политики второго ряда, псевдообщественные некоммерческие организации); б) производят социализацию молодого поколения в принудительном и безальтернативном порядке (массовая школа и другие образовательные учреждения, выставки, коммеморационные мероприятия, массовые церемониалы и праздники, памятники и городская агитация и реклама и проч.). Здесь важны два обстоятельства: тотальный охват и непрерывность воздействия.

Хотя разговоры о необходимости отмены статей, запрещающих государственную идеологию, ее возвращение и закрепление в Конституции, ведутся непрерывно с 2012 г., в том числе депутатами и судьями Конституционного суда, формально этого не произошло и скорее всего не произойдет. Демонстративное, открытое и публичное лицемерие следует расценивать как характерную черту нынешнего режима. Таков политический стиль нынешней системы господства, отличающий путинский режим от, например, брежневского, когда правители говорили то, что думали, не сомневаясь ни на секунду в своем праве на власть (речь в данном случае не об искренности тех руководителей и функционеров, а об отсутствии других представлений и мыслей). Путинский режим, испытывая сильнейший комплекс неполноценности, слабости легитимности, вынужден всякий раз демонстрировать как аргумент своей состоятельности силу, включая наглость и открытую ложь. В массовом сознании такая манера публичного поведения воспринимается скорее как позитивная характеристика национального лидера и его политиков (решительность, политическая опытность, умение и способность обыграть противника). Конечно, эта идеология эклектична, она состоит из смеси представлений, мифов и идеологем различных

[1] Слово «особый» должно всякий раз писаться курсивом и произноситься с подчеркнутой аффективностью. Здесь уместны ассоциации и с «особистами», и с нуминозным отношением к власти в целом и к отдельным чиновникам как людям, наделенным экстраординарными качествами, и т.п.

эпох, часто логически несовместимых (что отмечают критики путинского режима), как, например, реанимация Сталина и РПЦ, оправдание Белого движения и прославление органов безопасности, но именно эти ее особенности делают ее убедительной и значимой для массы населения.

Трансформация революционной, эсхатологической миссионерской идеологии большевиков в чисто консервативную идеологию брежневского времени и в еще более явном виде путинизма происходило за счет вымывания обещаний коммунистического рая, светлого будущего, когда «все будет» и «будет счастье», и замены их более приземленными, достижимыми, практическими, потребительскими представлениями о том, что доступно каждому из желаемого в соответствии с его статусом и ресурсами. Этот процесс понижающей адаптации к действительности обязательно дополняется представлениями о врагах, которые мешают нам достичь искомого состояния социального блаженства, и об объективных причинах, препятствующих достижению внутренней и внешней гармонии. Тем самым восстанавливаются внутренние разграничения между идеальным, правильным и допустимым, реалистичным, приемлемым. Структура сознания здесь более важна, чем ее содержательное наполнение, которое может сравнительно быстро меняться в соответствии с общественной конъюнктурой. Она непосредственно связана с социальным поведением и воздействует на него, работая как коллективно предписанные (а потому индивидуально не сознаваемые), априорно предписываемые нормы действия и массового поведения. Главное здесь — границы между различными зонами поведения, «своими» и «чужими», задающие как иерархическую вертикальную картину статусов, привилегий, допусков, антропологических исключений, так и социально пространственную картину фрагментированного существования разных групп и общественных особей. Роль идеологии заключается именно в этом объяснении («генезисе») или оправдании и закреплении набора разных, реальных и воображаемых социальных инклюзий и эксклюзий. Семантическое наполнение может меняться, априорные и бессознательные установки остаются.

Например, представление об «исключительности» русских, которое сложилось давно под влиянием религиозного разделение восточного православия и западного христианства, патриаршей церкви и старообрядцев, воспроизводилось в разделении и несовместимости русской Империи и Запада, передового коммунистического строя и загнивающего капитализма, России, сохранившей свои традиционные ценности и нравственность, и Европы и Запада, утративших христианские ценности, и т.п. Сегодня оно работает не как мобилизационное представление о коммунистическом будущем, русских как двигателях мирового прогресса, а как идея «особого пути», России как «особой цивилизации», то есть как защитный барьер против «чуждых» влияний. Функциональные следствия подобной мифологизации и сакрализация прошлого заключаются прежде всего в легитимации вертикали и подавлении любых попыток самоэмансипации общества, автономизации групп, блокирования его структурно-функциональной дифференциации. Государственный патернализм продолжает в стертом и очень рутинизированном виде рудименты социализма, воспроизводя тем самым состояние зависимости населения от власти и его произвола.

Идеология государственного патриотизма при всей его примитивности создает и поддерживает фиктивную реальность мифа светлого и великого прошлого, коллективного единства, почитания воинского подвига и мифических предков — отеческих святых, мучеников православной Руси. Главное в этом процессе — утверждение идеалов самоотверженности ради государства, враги особого пути, то есть состояние культурного изоляционизма, блокирующее в массовом порядке возможности автономизации субъективности, группового своеобразия, гражданской инициативы. Без идеи презентации разнообразных групповых и частных интересов в публичном и политическом поле, как мы знаем из истории других обществ, не может быть участия в общественных делах, самой идеи res publica, солидарности ради достижения своих идей и интересов, а значит, и ответственности. Такая легитимация власти означает ее полную апологию, монополизацию ее права и возможности репрезентации ценностей и символов коллективного целого и тем самым получение ею иммунитета от любой критики и контроля. Другими словами, идеология консервативного антизападного патриотизма утверждает полный суверенитет режима и право господства над населением, превращенным таким образом в одномерную и бескачественную плазму.

В соответствии с этой идеологией ведется и историческая политика: государственное

насилие (в том числе колониальные войны и усмирение мятежей и бунтов) поданы как проявления величия, причем «величия целей», а не фактических достижений. Эта раздвоенность — ядерная супердержава при нищенском уровне жизни населения, если его сравнивать с благосостоянием развитых европейских стран, все равно, победителей или побежденных, вполне осознается населением, порождая неупразднимое состояние двоемыслия, гордости и стыда, высокомерия и унижения. Но и оно в конечном счете служит сохранению пассивности и покорности общества.

Глорификация русской империи (территориальные приобретения в ходе колониальных войн и захватов), героизация военных подвигов и побед русской армии (при вытеснении частых ее поражений и неудач) идут в постоянном сопровождении культа мертвых, поскольку других средств сакрализации государства кроме церемониального перечисления жертв, принесенных во имя тотального государства, нет. Именно с приходом к власти Брежнева и концом социалистических экспериментов с реформированием коммунизма началась кампания почитания ветеранов войны, «никто не забыт», получающая искренний отклик у населения, вкладывающего в него собственные традиционалистские или магические смыслы. Соединение глубоко архаических и едва ли сознаваемых значений жизни и смерти, проступающих в поминовении мертвых, в восстанавливаемых (в это же время) обычаях посещения родительских могил на кладбищах после Пасхи с идеологическими значениями Советского государства придает устойчивость и некритичность всем отношениям населения с властью. Циничная эксплуатация властями этой потребности веры в осмысленность жизни и значимость убитых ради Отечества (неявно также и погибших в ходе террора и коллективизации) не сознается массой населения, а, напротив, принимается как должное, правильное и ожидаемое поведение «начальства». Крайне важно осознать, что инструментальное использование благоговения перед смертью (почитание мертвых) в том виде, как это практикуется путинской администрацией, ничего общего не имеет со скорбью по павшим, включая убитых во время войны из числа гражданского населения, жертв геноцида, смерти насильственных переселенцев и т.п. Прославление мистической тысячелетней России делает невозможным процесс рационализации прошлого, а значит, осознанием своей ответственности перед мертвыми и живыми, а значит, запрет на призывы к ответственности руководства страны, ввергнувшей население в бойню Второй мировой войны (равно как и ответственности за афганскую войну[1], обе чеченские, тайное участие в войнах в других частях света). В действительности мы имеем как раз прямо противоположную ситуацию — реанимируемый культ мертвых означает полное утверждение тождества власти и народа, консолидацию общества и государства и «забывание» особой роли режима в этой трагедии. Поэтому возникают мемориалы «всем павшим ради Отечества» — солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, военнослужащим, участвовавших в чеченской войне, в Сирии, в Украине (то есть участникам экспансионистских и колониальных войн)[2].

Найденная форма была признана удачной и допускающей известное расширение практик, возникающих в массах спонтанно (см. перехват бюрократией инициативы поисковиков, георгиевских ленточек, демонстраций «Бессмертный полк» и др.). Большую роль в процессе придания государству нуминозного характера сыграла РПЦ, ставшая важнейшим идеологическим департаментом путинского режима. Сакрализация абсолютно циничной власти (коррумпированного государства), если и не снимает общее раздражение, недовольство и какие-либо претензии к властям предержащим, то, по крайней мере, отодвигает их в сторону, вытесняя из сознания актуальности.

11. *Культ национального лидера*. Централизация власти и упразднение свободных СМИ,

---

[1] Об оправдании афганской войны и пересмотре политической оценки решения о вводе советских войск в Афганистан см.: *Снегирев В.* Отрешение // «Новая газета». 2019. № 14. 8 фев. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79464-otreshenie?utm_source=push

[2] *Дарсавелидзе Н.* Память и памятники // Знамя. 2007. № 11; *Дарсавелидзе Н.* Новые памятники в центре Москвы и на окраине // Отечественные записки. 2008. № 4 (43). Главный храм ВС РФ, который собирается строить С. Шойгу, «облачен» в военную форму. URL: https://hram.mil.ru/: «История России, независимость которой выкована в войнах с иноземными захватчиками, неразрывно связана с историей храмостроительства: в память о защитниках Родины испокон возводились храмы-памятники, часовни, памятные знаки и целые православные архитектурные ансамбли. Для объединения всех православных верующих военнослужащих воздвигается Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации». «Идеей создания главного храма Вооруженных сил России является морально-психологическое обеспечение войск, и в храме будут проходить военные показательные мероприятия», — пояснил РБК руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сам храм является идеологическим символом военного величия России, освященного православной идеей. И храм строится не для прихожан и не вокруг прихода. У храма другая идея создания». URL: https://www.rbc.ru/society/04/09/2018/5b8e74c29a7947d199ba2fae

монополия Кремля в информационной сфере, цензура привели к формированию культа Путина, превращения его в образ безальтернативного, решительного вождя или Отца нации, верховного судью, главнокомандующего, конечную инстанцию справедливости, силу, сдерживающую произвол коррумпированного чиновничества и всемогущих олигархов. Такое развитие было неизбежно при данных обстоятельствах, поскольку соответствовало внутренним интересам бюрократического аппарата, социальным инстинктам придворной обслуги. В общественном мнении все принимаемые решения замыкаются на нем (и такое мнение сохраняется даже после пенсионной реформы, воспринятой крайне негативно всем обществом). Он суверенен в своей политике и не отвечает ни перед кем за свои действия и слова. Любая критика или несогласие с ним воспринимаются как политические действия и оскорбление «национального величия», подрыв авторитета власти.

За годы путинского правления произошла кастрация интеллектуальной и творческой элит, воспрянувших было в перестройку и первые годы демократии, почувствовавших значимость и вкус свободы. Покупка лояльности происходила постепенно, через включение этих групп в систему обслуживания власти в качестве «экспертов и консультантов, разработчиков» политических и управленческих программ и проектов, в роли «групп поддержки» на выборах. Во многих случаях деятельность благотворительных фондов, организаций гражданского общества могла осуществляться только при условии использования капитала популярности этих именитых людей науки или звезд эстрады, культуры для демонстрации поддержки национального лидера, имитации народной любви к нему, что особенно важно в периоды электоральных кампаний. Нельзя упрекать этих людей в том, что они в очень конкретных ситуациях – ради спасения детей или выполнения своих научных или общественных задач — готовы идти на сделку с совестью, обслуживая таким образом циничную власть. Но в отдаленной перспективе это отзывается сильнейшими моральными поражениями общества, его развращением. Одновременно постоянному давлению подвергались ранее независимые научные институты и организации гражданского общества, вносимые в реестр иностранных агентов или просто запрещаемые как нежелательные (как, например, «Мемориал», Фонд Сороса, сделавший очень многое для выживания российских ученых, поддержки культуры в самый трудный период после краха советской системы или для просвещения российского общества, или даже объединение протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков).

12. Реставрация тоталитаризма (восстановление институтов насилия) была бы невозможна при ином моральном и психологическом состоянии общества. 1993–1994 и 1999–2002 гг. отмечены взлетом показателей социальной аномии — ростом числа самоубийств, убийств, разбойных нападений и других тяжких преступлений, увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний, что говорит о состоянии затяжного стресса и фрустрации в обществе, потери ориентаций и ослаблении нормативной системы. Но это внешние индикаторы неблагополучия. Не менее важны для понимания и проявления глубоко укорененного аморализма как опыта массовой адаптации к репрессивному государству, негативного отбора наиболее «пластичных» типов человека. Развал социально-нормативной системы советского тоталитаризма не породил, а лишь вывел на поверхность определенные типы человека: во-первых, «человека советского», описанного в работах Ю. Левады[1], во-вторых, не описанного социологами типа наглого политика или чиновника, получившего в распоряжения средства власти и управления, инструменты насилия, а потому почувствовавшего себя хозяином жизни, свободным от правовой ответственности. Этот социально-антропологический тип ярко представлен именно в последние месяцы многочисленными публичными скандалами по поводу высокопоставленного бандитизма и случаев поражающей коррупции (новейшие примеры — арест «сенатора» Р. Арашукова и его отца, условия отбывания наказания лидера кущевской банды, увольнение руководителя Росгеологии Р. Горринга, хамские заявления различных чиновников о бедности, поведение депутатов по поводу харассмента в отношении журналистов и т.п.). Можно сказать, что эти типы задают крайние полюса постсоветской антропологической шкалы: с одной стороны, страх, апатия, оппортунизм, двоемыслие, понижающая адаптация, фрагментарность повседневного существования и его горизонта, с другой — полное пренебрежение к согражданам («У кого нет

[1] Простой советский человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М.: Мировой океан, 1993; *Левада Ю.* От мнений — к пониманию. М.: МШПИ, 2000. С. 391–570; *Левада Ю.* Ищем человека. М.: Новое издательство, 2006. С. 233–380.

миллиарда, пусть идет в жопу», — как говорил владелец «Миракс групп» С. Полонский[1]).

13. Вопрос, является ли причиной тоталитаризма нынешний обширный некроз морали следствием приспособления к советскому тоталитаризму и принудительной адаптации к репрессивному государству или же, напротив, недоразвитость (гражданского) общества и его этики — причина тоталитаризма, — носит схоластический, умозрительный характер. Понятно, что всеобщая коррумпированность и цинизм функционально связаны с массовизацией, массовым обществом, отказом от культуры достоинства. Но не всякий процесс массификации оборачивается тоталитаризмом или фашизмом, в ряде стран действует сильнейший иммунитет против трансформации демократий в тоталитаризм, несмотря на заметные условия для развития фашизоидных или тоталитарных трендов[2]. Более внимательные наблюдатели всегда подчеркивали принципиальное различие доминантных человеческих типов в тоталитарных режимах (СССР, например) и демократиях. Еще А. Тойнби упрекал советологов в том, что они, проводя внешние параллели и статистические сопоставления промышленного развития в СССР и в странах Запада, не учитывают моральные аспекты человеческого существования, из-за чего анализ всякий раз заходит в тупик[3].

14. Так или иначе, 1990-е гг. отмечены выходом на первый план человека специфического типа — беспринципного авантюриста, игрока, социального манипулятора и демагога. Развал жесткой тоталитарной системы выводит на сцену людей, свободных от моральных и человеческих сдержек, одержимых жаждой власти, денег, наслаждений, переживающих жизнь как азартную игру, готовых к любым предприятиям, если они обещают успех, признание, восхищение и возможность соединять людей (под любыми лозунгами, важно лишь, чтобы они соответствовали духу времени, Zeitgeist). Наиболее ярко этот тип представлен в коллективном автопортрете социальной среды наших демократов и реформаторов — образе Б. Березовского, составленном из серии интервью его окружения П. Авеном[4]. Этот же социальный типаж столь же отчетливо и характерно проявляется в другой книге, также составленной из множества интервью и самоописаний, рассказывающих о расцвете новой, «свободной», бесцензурной журналистики 1990-х[5]. Это не просто впечатляющая «история успеха», очерк нравов кратковременной эпохи, но и описание человеческой несостоятельности, банкротства и предательства. Сейчас уже понятно, что крах и аномия вряд ли могли дать другие человеческие типажи, кроме полумаргиналов, внутренне развращенных и прикормленных детей советской элиты или фигур из околономенклатурной обслуги, почуявших свой шанс и понявших, что «время делать бабки». Поэтому манипуляторы из научной молодежи, инженерно-технической интеллигенции, кооператоров примкнули к оказавшимся на волне скороспелым партиям, в первую очередь к тем, кто шел в союзниках с Ельциным, у кого был ресурс административной силы, за кем было будущее.

15. Также не трудно понять, что очень скоро этих авантюристов, людей «в случае», вытеснили чиновники из второго эшелона силовой бюрократии — дисциплинированные, алчные и свободные от приверженности какой-либо идеологии и морали функционеры из КГБ, комсомола, у которых не было своих идей, кроме сентиментальных переживаний корпоративной мифологии и сознания значимости и надежности круговой поруки. Именно они и выстроили путинский режим, легитимировав его возвращением стереотипов и представлений поздней брежневской эпохи. Этот тип низовых спецслужбовских «шестерок» со всеми комплексами ущемленности и особого (чрезвычайного) статуса КГБ (вне правовых рамок, как это и предусматривалось их спецположением и характером деятельности) не способен выработать какую-то новую идеологию, политический проект. Они хотели, умели и могли, используя свои профессиональные навыки и компетенции, самым циничным и безжалостным образом обеспечить условия для сохранения своей власти. Это и было сделано. Путин уступает

[1] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87; параллель ему составляет в своем роде «человек без культуры», например, вице-адмирал Балтфлота И. Мухаметшин, который стал посмешищем (но лишь в неподцензурных сетях), заявив недавно о ненужности Канта («писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет»; «предал свою родину). URL: https://ura.news/news/1052361903 (3.12.2018). В советское время он не решился бы так открыто демонстрировать свое невежество.

[2] *Липсет М.С.* Политический человек. Социальные основания политики. М., Фонд «Либеральная миссия»; Мысль, 2016, гл. IV и гл. V.

[3] *Urban G.* Gespräche mit Zeitgenossen: Acht Dispute über Geschichte und Politik mit R. Aron, G. Mann, L. Kolakowski, A. Toynbee u.a. Weinhem-Basel, Beltz Verlag, 1982. S. 128.

[4] *Авен П.* Время Березовского. М.: АСТ, 2018.

[5] История русских медиа 1989–2011. Версия «Афиши». М.: «Афиша», 2011.

лишь Сталину по длительности нахождения у власти, что свидетельствует о некоторой близости используемых технологий господства и управления.

Таким образом, прежние социальные установки и структуры отношений могут сохраняться, только если меняют свое смысловое оправдание. Под ними я имею в виду покорность, страх, нежелание брать ответственность за вещи, которые выходят за рамки повседневного фрагмента существования — работы на своем месте и в жестко определенных пределах и т.п., советы не соваться в политику, под которой понимается все, что может касаться отношений с властью или местной непосредственной администрацией. В социологическом плане это означает, что социальные установки и нормативные представления предшествующих эпох всплывают в новых ситуациях под действием хорошо знакомых, но как бы забытых сигналов — языка власти, апеллирующей к коллективной солидарности (национальной, государственной, производственной, ведомственной), угрозе безопасности страны (военной, террористической, действиям подрывных элементов, пятой колонны, экстремистов, педофилов, любых чужих, включая воображаемый вред от иностранной культуры).

Все эти пропагандистские ходы нынешней власти отработаны еще в советские времена, но остались мало известными или осознанными обществом: насаждение военной угрозы и утверждение изоляционистских представлений, наказания за «оскорбление» коллективных символов и чести (принижение героизма и славы, выискивание темных пятен, «заведомо ложные измышления» антисоветчиков и т.п.), подрыв коллективной морали и престижа власти, единства власти и народа, «разложение молодежи», шпионаж и прочее, повторяется ныне во всех возможных вариантах. «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Вся их действенность построена на том, что либо других (другие страны, западных писателей или политиков) обвиняют в преступлениях, совершенных российским (советским) руководством, либо действия руководства представлены как ответ на просьбу других стран, политиков, общественных сил и т.п. Аннексия представляется как добровольное присоединение к СССР или к России (оккупация Прибалтики, война против Финляндии), войны, развязанные против других стран, как оказание интернациональной помощи (Корея, Вьетнам, Египет, Сирия, Конго, Куба и т.п.), убийства перебежчиков и нежелательных политиков за рубежом как акции справедливого возмездия, осуществленные непонятно кем. Так же ничего нового нет и в проведении подрывных и пропагандистских кампаний против демократических правительств посредством широко развитых сетей и «дружеских» организаций в других странах. Достаточно вспомнить теперь мало кому известную, кроме историков, практику Коминтерна и западных компартий подкупа иностранных журналистов и политиков, скрытое финансирование оппозиционных партий, подготовку диверсантов и боевиков в советских закрытых университетах и институтах и проч. Сегодня это поддержка, в том числе и финансовая, крайне правых популистов, Мадуро в Венесуэле, еще недавно — Хусейна и Каддафи.

Именно это создает привычный актуальный образ мира, общий контекст повседневного существования обычного человека, лишенного выбора или ограниченного в своих действиях, в свободе, тревожного, доверяющего только своим (в том числе своим «источникам информации», даже если это пропаганда), аполитичного и имморального.

Выводы

1. Возвратный, или вторичный, тоталитаризм проявляется как специфическая политика правящей элиты, пришедшей к власти не путем выборов, а через внутриаппаратные интриги и потому испытывающей дефицит легитимности и доверия к обществу. После узурпации власти, как показывают действия путинской администрации, происходит процесс закрепления ее через восстановление принудительного контроля над обществом: в начале путем введения цензуры и административной реформы (устранения самостоятельности регионов и кастрации политических партий, в первую очередь региональных, поскольку именно регионы на этой фазе обладают наибольшими ресурсами сопротивления централизации), манипуляций на выборах и формированием нужного состава парламента и региональных законодательных собраний. Одновременно идет захват собственности (ранее приватизированных и наиболее успешных, доходных предприятий и корпораций) и создание крупнейших госкорпораций, служащих источником средств для элиты. Но все эти действий оказываются недостаточными без воссоздания государственной идеологии, в качестве которой утверждается консервативная версия великодержавного православного и имперского национализма, насаждаемого в

качестве единой и обязательной к исполнению программы воспитания молодого поколения и индоктринации населения в целом через массированную и агрессивную пропаганду. «Тотальной» эта политика оказывается лишь в планах и намерениях режима, однако для населения она играет иную роль. Технология господства при вторичном тоталитарном режиме заключается в постоянном разрушении систем коммуникаций и институциональных взаимосвязей между социальными группами, сегментами общества, деструктуризации социальных сетей и отношений, производстве одномерной плазмы общественного сознания — состояния, которые не допускает никакой гражданской самоорганизации, солидарности, активности и ответственности за положение дел (в стране, регионе, месте жительства). Милитаристская пропаганда и угроза войны, внутренних врагов производят эффект принудительного объединения вокруг власти, тем более что режим монополизирует все символические ресурсы коллективности, включая и трансцендентные значения веры, истории, добра и смерти, отданные государственной церкви. Насаждаемая режимом идеология представляет собой эклектический агрегат представлений об органическом единстве тысячелетней России, мужающей и крепнущей в борьбе с врагами, осаждающими страну со всех сторон. Такое представление упраздняет идею сложного социального состава общества, наличия различных групп со своими частными интересами, заменяя его образом государственной, отечески заботливой власти, защищающей народ от разных бед и напастей, в том числе от утраты самобытности, духовности, традиций, веры и т.п.

2. В отличие от идеологии власти идеологические взгляды социальной элиты, обслуживающей власть, консультирующей режим, обеспечивающей его кадрами и технологиями управления, заключаются в оптимистической вере в детерминизм исторического движения всех стран, включая Россию, к демократии, открытому обществу, свободному рынку, подкрепленный транзитологическими теориями. Этот идеологический либерализм не совсем бескорыстен: он в большей степени разделяется теми, кто был во власти в начале 1990-х или способствовал проведению реформ своими знаниями и консультациями, участием в разработке политических программ и хотел бы вернуть себе утраченное авторитетное положение и роль. Поэтому сторонники транзитологических концепций применительно к российской действительности оказываются интеллектуально весьма избирательными или слепыми в отношении явлений, которые для них неприятны. Общество оказывается без адекватного и трезвого анализа происходящих процессов. И идеологический фундаментализм имперского национализма, и либеральный транзитизм удачно дополняют друг друга, блокируя не только возможности понимания, но и необходимость представления взглядов и многообразных интересов различных социальных групп общества.

3. В этих условиях поведение основной массы населения отвечает принципам и нормам, которую можно назвать «рациональность пассивной адаптацией». «Рациональность», если следовать трактовке М. Вебера, означает внутренний порядок согласования идей и интересов, когда под «интересами» понимаются мотивы действия практического (материального или идеального) характера, направленного на обеспечение существования, обогащения, на получение престижа, признания или уважения окружающих, а под «идеями» — смысловые представления, источником которых могут быть идеологии, оправдывающие политические цели или положение вещей, мировоззренческие картины действительности, религиозные образы и вера, привычные определения социальных процессов. Сами по себе «идеи» не являются мотивами практического действия, но они могут служить оправданием, оформлением, обоснованием интересов, способствуя артикуляции целей или ориентиров действия, оказывая влияние на выбор средств или учет последствий их выбора. В ситуации, когда публичное пространство стерилизовано и представляется единственно верным и неизменным, сфера аспираций, представлений о возможном и реализуемом резко ограничивается конкретными повседневными возможностями действия конкретных социальных акторов. Другими словами, социальное пространство жестко сегментируется и фрагментируется (и не только через административные барьеры, но и теми границами, которые устанавливают себе сами люди, — границами релятивной депривации, «по Сеньке шапка»). Горизонт желаемого очерчен реалистичными (снижающими запросы) представлениями о возможном и социально данном. Это неправильно называть оппортунизмом или конформизмом, поскольку такие оценки социального поведения могут быть приложены лишь к социальным элитам — более высоким слоям и группам средней бюрократии, экспертного сообщества, пред-

принимательскому классу, то есть ко всем, у кого есть некоторые собственные ресурсы или основания для претензий на известную автономию. У большинства огосударствленного населения этих ресурсов нет. Такие люди живут в очень фрагментированном (или сегрегированном) пространстве частных существований, не имея возможности изменить положение дел. Фрагментированность снимается функционированием нескольких тотальных институтов — СМИ (в первую очередь государственной телевизионной пропагандой), полицией и школой. К ним по охвату приближается и государственный контроль над экономикой, воссоздающей общее поле принудительных соподчинений и согласований. Рациональными в этом плане становятся действия индивидов, учитывающих в своем поведении нормы и предписания государственно требуемого (путем прямой артикуляции или негласным, неформальным образом) самоограничения и выражения лояльности и преданности. Другими словами, рациональным в данной ситуации оказывается поведение применительно к так или иначе понимаемым интересам власти, администрации, обладателям ресурсов принуждения (воспринимаемых как безальтернативные условия собственного поведения). Если все мысли направлены на безопасное выживание, следствием такой организации жизни (особенно если она сознается как тотальная, всеобщая) и социального порядка становится установка на простое воспроизводство, а в общесоциальном плане — отсутствие импульсов развития, стагнация, что, в свою очередь, вызывает у власти очередной позыв «любыми средствами добиться решающего прорыва» (в высоких технологиях, повышении производительности труда и т.п.), «догнать и перегнать». Но мобилизационным такое общество уже не назовешь, как нельзя назвать этот социальный порядок идеократией.

4. Уровень насилия и репрессий при этом может быть сравнительно невысоким, учитывая новые технологические возможности пропаганды и информирования населения о наказаниях экстремистов и тех, кто подрывает основы конституционного строя, с одной стороны, а с другой — характер социализации многих поколений советских людей, знающих правила игры и границы допустимого разномыслия. Этим современная ситуация отличается от времени установления тоталитарной системы, когда масштабный террор должен кардинально изменить цивилизационные нормы и представления о человеческом достоинстве, о том, чего не может быть и что можно ждать и требовать. Сегодня никому не надо объяснять, что «может быть всякое», и это как бы иррациональное положение лучше, чем какие-либо иные юридические или практические разъяснения, выражает опыт жизни при тоталитарных режимах. Это не страх, это то, что может быть сопоставлено с нормами «приличия» в других обществах, психологического комфорта, признания «нормальности» со стороны других.

5. В более общем теоретическом плане приходится делать вывод о том, что эволюция тоталитарных режимов ведет не к демократизации (если только нет внешних условий и предпосылок принудительного изменения системы господства, как это было в Италии и Германии после войны, или отпадения Восточной Европы, взятой под контроль западными институтами), а к рутинизации господства, к простому или сокращенному воспроизводству институциональных систем этого типа, длительной стагнации и общества, и экономики, лишенной внутренних источников роста. Его основа — не идеология, не принуждение и насилие, не следующий из этого имморализм общества, а сложившийся повседневный порядок, совокупность тысяч устойчивых и привычных взаимодействий людей, у которых просто не возникает идеи или представлений о другой системе организации жизни. Каждое отдельное обстоятельство — сервильность и ограниченность элиты, готовой уговорить себя, что отказ от демократии и обслуживание власти — это вынужденный выбор, что это даже меньшее зло, чем могло быть, негативный отбор во власть людей определенного рода, серых и циничных, исключительно по критерию лояльности и готовности к выполнению любого приказа сверху, алчность и жестокость власти, не встречающей сопротивления, последовательно разрушающей систему коммуникации, солидарных отношений в обществе и, следовательно, потенциал представлений об общем благе, социальный альтруизм и идеализм общества, безальтернативность вариантов существования основной массы населения, и т.п., — все это у каждого по отдельности и у всех вместе и создает ту систему обстоятельств и мотивов адаптивного поведения, которые определяют инерцию тоталитаризма в его консервативной стадии.

Список литературы

1. *Авен П.* Время Березовского. М., Аст, 2018
2. *Адамс Ч.* Влияние налогов на становление цивилизации. Москва-Челябинск, Социум-Мысль, 2016
3. *Айзенк Х.* Психология политики. М., фонд Либеральная миссия, 2016
4. *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М., Наука, 1996
5. *Арендт Х.* Опыты понимания 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм. М., Институт Гайдара, 2018
6. *Випперман В.* Европейский фашизм в сравнении, 1922-1982. Новосибирск, 2000.
7. *Волков Д., Гончаров С.* Российский медиа-ландшафт 2017: основные тенденции использования СМИ. М., ЛЕВАДА-ЦЕНТР, 22.08.2017
8. *Ворожейкина Т., Гудков Л., Зоркая Н., Овакимян А.* Мониторинг отношения российского населения к судебной реформе и судебной системе // Вестник общественного мнения, 2014, №3-4 (118), с. 13-69
9. *Головачев Б., Косова Л., Хахулина Л.* Формирование правящей элиты в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 1995, № 6, с. 18-24; 1996, №1, с.32-38
10. *Гудков Л.* Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., Русина, 1994
11. *Гудков Л.* «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия. // экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М., 2001, № 5, с.19-29 и №6, с. 20-29
12. *Гудков Л., Дубин Б.* Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс / Пути российского посткоммунизма. М., Московский центр Карнеги. 2007, с.8-63;
13. *Гудков Л.* Перерождение коммунистической номенклатуры. / Россия на рубеже веков, 1991-2011. М., РОССПЭН, 2011, с.116-133.
14. *Гудков Л., Дубин Б.* Российские выборы: время «серых» // ИБМ, 2000, № 2, с. 17-29. *Гудков Л., Дубин Б.* Конец 90-х: затухание образцов. // ИБМ, 2001, № 1, с. 15-30
15. *Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н.* Российская судебная система в мнениях общества // Вестник общественного мнения, 2010, №4 (106), с. 7-43
16. *Гудков Л., Дубин Б., Леонова А.* Милицейское насилие и проблема «полицейского государства» // Вестник общественного мнения, 2004, №4 (72), с.31-47
17. *Гудков Л., Дубин Б.* Приватизация полиции // Вестник общественного мнения, 2006, №1 (81), с. 58-71.
18. *Гудков Л.* Природа «путинизма» // Вестник общественного мнения, 2009, №3 (101), с. 6-21.
19. *Дарсавелидзе Н.* Память и памятники // Знамя, 2007, №11
20. *Дарсавелидзе Н.* Новые памятники в центре Москвы и на окраине // Отечественные записки, 2008, №4 (43)
21. *Дерлугьян Г.* «Демократия как озеро». Предисловие к русскому изданию книги Ч.Тилли «Демократия», М., 2007
22. Жерар Р. «Насилие и священное». М., НЛО, 2000 и 2010
23. *Заславский В.* Постсоветский этап изучения тоталитаризма: новые направления и методологические тенденции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2002, №1 (57), с.47.
24. *Зубаревич Н., Кынев А., Петров Н., Рогов К.* Стресс-тест на пол-России. Технологии электорального доминирования и их ограничения. Анализ региональных выборов 2018 г. авторы М., Либеральная миссии, 1.10.2018
25. *Иноземцев В.* Вставай, страна огромная: как фашизм возвращается 70 лет спустя - http://daily.rbc.ru/opinions/politics/22/06/2015/5582da729a
26. История русских медиа 1989-2011. Версия «Афиши». М., Афиша, 2011
27. *Корни Р.* Страх. История политической идеи. М., Территория будущего, 2007
28. *Коровицына Н. В.* Агония соцмодернизации. Судьба двух поколений двух европейских наций. М.: Наука, 1993;
29. *Коровицына Н.В.* Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века, М., Наука, 1999;
30. *Коровицына Н.В.* Восточноевропейский путь развития: социокультурные контуры М., Наука 2003; *Коровицына Н. В.* «С Россией и без нее: восточноевропейский

путь; развития» (2003 г.)
31. *Коровицына Н.В.* «Бархатные» революции как феномен массового сознания восточноевропейцев. // Революция 1989 в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Взгляд через десятилетие. М., Наука. 2001
32. *Кун Т.* Структура научных революций. М., Наука, 1975;
33. *Крыстев И.* "Превращение» Центральной Европы. Почему подражание Западу неизбежно ведет к национальному ресентименту. // IPG. Международная политика и общество. 30.01.2019. -
34. https://www.ipg-journal.io/rubriki/evropeiskaja-integracija/statja/show/prevrashchenie-centralnoi-evropy-715/
35. *Куртуа С., Верт Н., Панне Ж-Л., Пачковский А., Бартосек К., Марголин Дж-Л.* Чёрная книга коммунизма [95 миллионов жертв большевизма]. — М.: «Три века истории», 2001.
36. *Латынина Ю.* Зомби-ленд Россия //Новая газета от 24.01.2019, - https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/24/79293-zombi-lend-rossiya
37. *Левада Ю.* От мнений – к пониманию. М., МШПИ, 2000,
38. *Левада Ю.* Ищем человека. М., Новое издательство, 2006
39. *Линц Х.* Тоталитарные и авторитарные режимы. Введение // Неприкосновенный запас, 2018, №4,
40. *Мадьяр Б.* «Мафиозное государство Россия уже прошло точку невозврата» -https://www.colta.ru/articles/mosty/18126-balint-madyar-mafioznoe-gosudarstvo-rossiya-uzhe-proshlo-tochku-nevozvrata
41. *Никитинский Л.В.* Ментовское государство как вид. Неправительственный доклад в ВШЭ, март-апрель 2009 (https://web.archive.org/web/20090714123738/http://www.ruj.ru/authors/nikitinskiy/090319-1.htm
42. *Нойманн Ф.Л.* Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933–1944, СПб.: Владимир Даль, 2015
43. Общественное мнение.2016, М., Левада-центр. 2016
44. Общественное мнение 2017. М., Левада-центр, 2017
45. *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М., AST Publishers, 2016
46. *Оруэлл Дж.* 1984 и эссе разных лет. М., Прогресс, 1989, 2001
47. *Патнем Р.* Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии. М. : Ad Marginem, 1996
48. *Петров Н.* Путинская перестройка // Ведомости от 22.08.2018 (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/23/730610-putinskaya-perestroika;
49. *Петров Н.* Репрессии стали механизмом контроля элиты // Ведомости, 30.08.2017 https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/30/731537-repressii-kontrolya-eliti;
50. *Петров Н.* Методы репрессий отрабатываются в регионах // Ведомости 5.09.2017 https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/06/732503-metodi-repressii).
51. Политическая наука: новые направления. Под ред.Е.Шестопал. Вече, 1999
52. *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., Международный фонд «Культурная инициатива»; 2009
53. Простой советский человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М., Мировой океан, 1993
54. *Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г.* Феномен тоталитаризма. Политическая теория и исторические метаморфозы. М., Наука, 2005
55. *Райс К.* Во имя национальных интересов // Pro et Contra, 2000, Т.5, №2
56. *Розенфилд С.* Ненормальная страна // Эковест, 2004, т.4, №2, с.350-366
57. *Рогов К.* Дрейф на льдине, не похоже на Крым// Новая газета, 2019, №1, от 9.01 2019.-https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/08/79126-dreyf-na-ldine-ne-pohozhey-na-krym
58. *Синг Чаудхари А., Шапп Р.* Рейх суперменеджеров. Американские ученые против американских политиков: вердикт без суда? // Гефтер, от 6.12.2017
59. *Снегирев В.* Отрешение // Новая газета, 2019, №14 от 8 февраля- https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79464-otreshenie?utm_source=push
60. *Солдатов А., Бороган И.* Новое дворянство. - https://www.rulit.me/books/novoe-dvoryanstvo-ocherki-istorii-fsb-read-217403-1.html
61. *Умланд А.* Теоретическая интерпретация фашизма в работах В.Виппермана // Социологический журнал, 2000, №1-2, с.205-210

62. *Умланд А.* Является ли путинский режим фашистским? Западно-российский клинч? Текущие споры о «фашизма» и «империализме» Кремля // Гефтер, 2018, 7 мая - http://gefter.ru/archive/24860?_utl_t=fb; 2019, 13.01. – https://phase-zwe.org//hefte/artikel/russischer-nationalismus-644/.
63. *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 2003
64. *Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. — М.: РОССПЭН, 2003
65. *Хлевнюк О. В.* Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы М., РОССПЭН, 1996
66. *Хлевнюк О.В.* Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010
67. *Шлейфер А. Трейсман Д.* Нормальная страна // Эковест, 2004, т.4, №1, с.44-78
68. *Шульман Е.* Демократизация по ошибке. Как самосохранение власти приводит к переменам.- Московский центр Карнеги, 7. 12.2017 - http://carnegie.ru/commentary/74926
69. *Dawisha K.* Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? N.Y., Simon & Schuster, 2014 ;
70. *Fraenkel E.* The Dual State, New York, 1941
71. *Fridrich C.J., Brzesinsky Z.* Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge (Mass.), 1956;
72. *Gudkov L.* Russia – A Society in Transition? // Telos, 2001, summer, #120, p.9-30
73. *Gudkov L.* Traces of Defeat. Why the Propaganda Effect Will Be Felt for a Long Time Yet Journal // Russian Politics & Law (Russian Politics at the End of 2015: Continuing DeinstitutionalizatiRussian Politics at the End of 2015: Continuing Deinstitutionalization), 2016, Volume 54, Issue 4, Pages 386-394 - http://dx.doi.org/10.1080/10611940.2016.1207466
74. *Kachkayeva A.* Glamour Totalitarism the Television Industry in the epoch of stability (2004—2007) // World of media: Медиамир, 2009
75. *Kershaw I.* Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933–1945, Oxford, 1983
76. *Linz J.J.* Totalitarianism and Authoritarian Regimes// Handbook of Political Sciences. Vol.3, 1975. Ed. by F.Greenstein and W.N.Polsby. Addison; Wesbey. P.175-411
77. *Riesman D.* Some Observation on the Limits of Totalitarian Power / Riesman D. Abundance for what? And other Essays. Anchor Books Edition; Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York. 1965
78. *Urban G.* Gespräche mit Zeitgenossen: Acht Dispute űber Geschichte und Politik mit R.Aron, G.Mann, L.Kolakowski, A.Toynbee u.a. Weinhem-Basel, Beltz Verlag, 1982
79. *Umland A.* Russischer Nationalismus. Der postsowjetische politische Diskurs und die neue faschistische Gefahr. // Phase 2. Zeitschrift gegen die Realität/ 2019, 13.01. – https://phase-zwe.org//hefte/artikel/russischer-nationalismus-644/.
80. *Wipperman W.* Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. Darmstadt, Primus Verlag, 1997, S. 111.